БИБЛИОТЕКА
ЗНАНИЕ

Б. М. Шубин

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТАМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Доктор медицинских наук Б. М. Шубин взглянул на биографии А. С. Пушкина и Л. П. Чехова глазами врача. Такой своеобразный взгляд позволил ему дополнить портреты выдающихся писателей интересными и малоизвестными подробностями.

Книга состоит из двух разделов: «Скорбный лист, или История болезни Александра Пушкина» (первое издание вышло под названием «История одной болезни») повествует о последних днях жизни великого поэта и врачах, оказывавших ему посильную помощь. Вторую половину книги составляют очерки «Доктор А. П. Чехов», которые знакомят читателей с медицинской деятельностью А. П. Чехова, с кругом его научных и общественных интересов.

Издание рассчитано на широкого читателя.

- Александр Шубин
  - Скорбный лист, или история болезни Александра Пушкина
    -
    - Предисловие к первому изданию
    - Скорбный лист, или История болезни Александра Пушкина
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - Библиография
  - Доктор А. П. Чехов
    -
    - От автора

        - В выборе факультета не раскаялся…
        - Профессия у него была благородная
        - Верил он в медицину твердо и крепко…
        - В медицине прежде всего нужны знания…
        - Медицина не может упрекать меня в измене…
        - Спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 000 удачных операций…
        - Как слаба была старая медицина!
        - Некоторые даты жизни, творчества и медицинской деятельности А. П. Чехова
        - Библиография
    - От издательства
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

Александр Шубин
Дополнение к портретам

Скорбный лист, или история болезни Александра Пушкина Издание 2-е

А. С. Пушкин. С портрета О. А. Кипренского

Предисловие к первому изданию

Мне доставляет большое удовольствие написать несколько вводных строк и представить читателям книгу Б. М. Шубина «История одной болезни», посвященную А. С. Пушкину.

История ранения и гибели великого поэта всегда глубоко интересовала наш народ, и немало врачей изучало все материалы, которые могут помочь получить ответы на вопросы, возникающие в этой связи. Неизменно поднимаются вопросы о том, мог ли Пушкин быть спасен и было ли сделано наблюдавшими его врачами все возможное для его спасения. При этом некоторые врачи, писавшие о болезни и смерти Пушкина, были склонны обвинить лечивших его врачей, и особенно лейб-медика Н. Арендта, в бездействии, а может быть, даже в содействии его гибели. Эти обвинения в действительности были связаны с недостаточным знанием истории медицины и возможностей хирургии первой половины прошлого века.

Врачи, лечившие Пушкина, ничем не уронили достоинства своей профессии, и не их вина, что медицина, и в частности хирургия, того времени не располагала теми большими возможностями, которые мы имеем в наши дни.

Книга Б. М. Шубина дает объективную оценку деятельности врачей, лечивших Пушкина. Она написана высококвалифицированным врачом, изучившим все доступные материалы.

Особенностью этой книги является также восторженное отношение автора к личности великого поэта и его творчеству, которое позволило ему сделать книгу весьма интересной. Это не просто «история болезни», а литературное произведение о Пушкине, объективно и честно знакомящее читателя с медицинскими сведениями о жизни, болезни и смерти великого поэта.

Академик *Н. БЛОХИН*

Скорбный лист, или История болезни Александра Пушкина

«Скорбный лист» – так в эпоху А. С. Пушкина назывался тот медицинский документ, который сегодня именуется историей болезни. Новое название соответствует прогрессу медицины, поскольку болезнь в наше время чаще всего краткий, порой – неприятный, но только эпизод в долгой человеческой жизни. Кроме того, слово «история» подразумевает объективность и беспристрастность заметок врача о развитии заболевания, результатах обследования пациента, его лечении и прогнозе.

Именно поэтому, когда речь заходит об истории болезни А. С. Пушкина, хочется вернуться к старинному названию – «Скорбный лист», памятуя, что скорбь – это крайнее выражение печали.

Известно: никто из врачей, лечивших смертельно раненного поэта, не вел его истории болезни. При жизни Александра Сергеевича о его ранении был написан лишь один, скорее полицейский, чем медицинский документ – донесение старшего врача полиции Иоделича («Полициею узнано, что вчера в 5-м часу пополудни, за чертой? города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком кавалергардского ее величества полка бароном Геккереном» первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха… – Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. – О чем вашему превосходительству имею честь донесть») и несколько коротких бюллетеней, написанных В. А. Жуковским и вывешиваемых в вестибюле дома на Мойке. Последний бюллетень, всего в пять слов («Больной находится в весьма опасном положении»), был обнародован за несколько часов до печального финала.

Все, что нам известно о 46 предсмертных часах его физических и душевных мучений, написано по горячим следам свидетелями-очевидцами, среди которых были и врачи В. Б. Шольц, В. И. Даль, И. Т. Спасский.

Уже в те дни передовые деятели русской культуры понимали – о Пушкине позднейшие поколения захотят узнать как можно больше: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами…» – сообщал 5 февраля 1837 года П. А. Вяземский А. Я. Булгакову.

Начало трагической Пушкиниане положено известным

письмом В. А. Жуковского к отцу поэта; продолжили ее многие его биографы, и в первую очередь П. Е. Щеголев.

Почти полтора века, прошедших с того рокового 1837 года, не прекращается обсуждение причин гибели поэта. Наряду с писателями и историками в нем приняли участие такие видные представители отечественной медицины, как Н. Н. Бурденко, С. С. Юдин, А. М. Заблудовский, И. А. Кассирский. При этом нередко высказывались самые несовместимые мнения о возможности спасения А. С. Пушкина. И если хирурги чаще всего осторожны в своих заключениях, то литераторы словно забывают, в каком веке это случилось. Как здесь не вспомнить высказывание врача и писателя А. П. Чехова: «…Странно читать, что рана князя (Андрея Болконского. – Б. Ш.), богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина!»

Одна из последних и удачных попыток воссоздать на научной основе историю болезни А. С. Пушкина была предпринята врачом Ш. И. Удерманом. Работа его, опубликованная в Ленинграде издательством «Медицина» в 1970 году мизерным тиражом (всего 2000 экземпляров), сразу же стала библиографической редкостью.

В некоторых художественных произведениях, посвященных драматическим событиям дуэли и гибели А. С. Пушкина, порой тоже затрагиваются вопросы правильности лечения, добросовестности и компетенции врачей, которым была доверена жизнь поэта.

Так, в одном из самых значительных произведений на эту тему – пьесе М. А. Булгакова «Последние дни» есть, например, такая реплика Натальи Николаевны, обращенная к В. И. Далю: «Вы не доктор, вы сказочник, вы пишете сказки…» В другом случае тайный агент Третьего отделения докладывает Дубельту:

«…двое каких-то закричали, что иностранные лекаря нарочно залечили господина Пушкина».

Приступая к этой работе, я не ставлю целью выдвинуть новые концепции причины смерти А. С. Пушкина. Перебираю этот терзающий душу материал больше для себя – чтобы еще раз соприкоснуться с тем, что имеет отношение к любимому поэту. Наивные «если бы» мешают следить за действиями Даля и Спасского, Арендта и Андреевского. Но ничего нельзя уже изменить. И мне только остается вместе с врачами, склонившимися над телом Александра Сергеевича, горько сожалеть, что мало жил, что рано умер.

1

В шесть часов вечера карета с Данзасом и Пушкиным подъехала к дому князя Волконского на Мойке, где жил Пушкин. У подъезда Пушкин попросил Данзаса выйти вперед, послать за людьми вынести его из кареты и предупредить жену, если она дома, сказав ей, что рана не опасна.

Сбежались люди, вынесли своего барина из кареты. Камердинер взял его в охапку.

«Грустно тебе нести меня?» – спросил его Пушкин.

Внесли в кабинет, он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван…

Пушкин был на своем смертном одре.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ. Дуэль и смерть Пушкина

Историю болезни принято начинать с жалоб больного в момент первичного осмотра врачом. Если бы А. С. Пушкин сегодня поступил в приемное отделение какой-нибудь больницы «скорой помощи», врачи записали бы, что он жалуется на боли внизу живота, отдающие в поясницу, кровотечение из раны, слабость, головокружение, жажду и тошноту. Примерно то же самое отметил доктор В. Б. Шольц, который вместе с доктором К. К. Задлером в числе первых врачей навестил раненого.

Однако, если быть скрупулезно точным, в записке Шольца отсутствуют жалобы А. С. Пушкина на боли и слабость. Даже наоборот, он подчеркивает, что особой слабости не было. Александр Сергеевич громко и ясно спрашивал об опасности ранения.

Можно допустить, что боль к этому времени поутихла и не шла ни в какое сравнение с тем, что Пушкин испытывал в момент ранения («…сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу») и особенно по дороге к дому, сидя в тряской карете рядом со своим секундантом К. К. Данзасом.

Следующим разделом традиционной истории болезни является anamnesis vitae, что в буквальном переводе с латинского означает воспоминание о жизни. Разумеется, «воспоминания» с медицинских позиций существенно отличаются от обычных воспоминаний. Врача интересуют главным образом моменты, которые могут отрицательно сказаться на физическом состоянии и психике пациента: перенесенные заболевания, патология наследственности, вредные привычки и т. п. Конечно, внимание врача привлекают также и те факторы, которые идут с положительным знаком и способствуют повышению устойчивости больного к различным вредным воздействиям.

Александр Сергеевич родился 26 мая (6 июня) 1799 года в Москве. Он был вторым ребенком в семье отставного гвардии майора двадцатидевятилетнего Сергея Львовича Пушкина, имевшего репутацию известного острослова, и двадцатичетырехлетней «красавицы-креолки» Надежды Осиповны, урожденной Ганнибал.

Если верно, что продолжительность жизни в известной степени запрограммирована в генах, то Александру Сергеевичу досталась неплохая наследственность: его знаменитый прадед Абрам Петрович Ганнибал умер на 92 году жизни, оба его деда, бабушка по линии отца и мать прожили более 60 лет,[1] а бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и отец – по 73 года. Сестра Ольга, родившаяся на полтора года раньше Александра Сергеевича, пережила его на 30 с лишним лет. И только младший брат Лев умер относительно рано – на сорок восьмом году жизни, хотя по тем временам и этот возраст считался достаточно почтенным. (Здесь в скобках заметим: пятеро детей Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных – Михаил, Павел, Николай, Платон и Софья – умерли в младенчестве. Но эти преждевременные смерти никак не компрометируют наследственность А. С. Пушкина, так как обусловлены детскими болезнями, бороться с которыми в те годы было практически невозможно. В. Андросов в «Статистических записках о Москве», изданных в 1882 году, писал: «Не доживши года, умирает из родившихся целая половина и даже несколько более».)

Хорошая наследственность, воспринятая Александром Сергеевичем, была передана его детям: старшая дочь Мария Александровна (в замужестве Гартунг) прожила 87 лет, старший сын Александр Александрович, особенно напоминавший внешностью отца, успел отметить 81-ю годовщину, младшая дочь Наталья Александровна (во втором браке графиня Меренберг) прожила 76 лет, и Григорий Александрович – 70 лет.

Таким образом, мы можем предположить, что дантесовская

пуля настигла поэта на середине его естественного жизненного пути.

В раннем детстве Александр Сергеевич был толстым, неуклюжим и малоподвижным ребенком. Это противоречит нашему представлению о нем, как о чрезвычайно эмоциональном человеке с тонким стремительным профилем. Внешний облик трехлетнего Пушкина запечатлен на единственном портрете.

Не вызывает сомнений, что с миниатюры неизвестного художника на нас смотрит будущий поэт, хотя у ребенка мягкий, женственный овал лица, пухлые щечки и гладкие, расчесанные на пробор волосы.

История этого портрета представляет для нас интерес, и поэтому мы на некоторое время прервем изучение анамнеза жизни А. С. Пушкина.

2

Миниатюра с изображением маленького Пушкина была подарена матерью поэта дочери выдающегося русского терапевта М. Я. Мудрова в год ее свадьбы с поэтом И. Е. Великопольским. Подарок пришелся как нельзя более к случаю: с одной стороны, это был знак памяти и благодарности семейства Пушкиных родственникам безвременно умершего профессора, у которого они лечились, а с другой – портрет должен был способствовать примирению Александра Сергеевича со старым знакомым Иваном Ефимовичем Великопольским, с которым произошла размолвка. Они в свое время выпустили друг в друга по целой обойме едких эпиграмм; последняя пушкинская была особенно резкой и обидной:

Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций,
Проигрывал ты кучки ассигнаций,
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров —
И с радостью на карту, на злодейку,
Поставил бы тетрадь своих стихов,
Когда б твой стих ходил хотя в копейку.

Александр Сергеевич через Надежду Осиповну как бы протягивал руку Великопольскому. Впоследствии они неоднократно встречались и поддерживали «дружество» (словечко это употребил Александр Сергеевич в одном из писем к Великопольскому).

Пушкин-ребенок. С миниатюры неизвестного художника

Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. С миниатюры Ксавье де Мэстра

Сергей Львович Пушкин, отец поэта. С рисунка К. Гампельна

Потомки Мудрова бережно хранили эту реликвию, и уже в наше время портрет был преподнесен артисту Всеволоду Семеновичу Якуту, исполнившему на сцене роль Пушкина, а тот, в свою очередь, передал его Музею А. С. Пушкина в Москве.

Я хочу начать рассказ о врачах пушкинской эпохи с Матвея Яковлевича Мудрова, хотя у нас нет прямых доказательств, что он

когда-нибудь лечил или консультировал Александра Сергеевича.

Мудров был старшим современником Пушкина; большую часть жизни он провел в Москве, и, возможно, когда Пушкин жил там или бывал наездами, пути их пересекались. Предположение это основано на том, что у них было много общих знакомых: Муравьевы, Тургеневы, Чеботаревы, Чаадаев. Не исключено, что Мудров лечил Александра Сергеевича в младенчестве (ведь первые 12 лет Пушкин жил в Москве), и, может быть, поэтому Надежда Осиповна и выбрала в подарок именно детский портрет.

М. Я. Мудров родился в те годы, когда в русском искусстве господствовал классицизм. По канонам этого стиля имя героя литературного или драматического произведения должно соответствовать его характеру. Читая воспоминания современников о М. Я. Мудрове, можно подумать, что он шагнул в жизнь с подмостков театра классицизма: все биографы в один голос подчеркивают его ясный ум, прозорливость и здравый смысл в подходах к лечению.

Впрочем, чтобы убедиться в гармоничном совпадении его фамилии и взглядов на медицину, не обязательно ссылаться на свидетелей. Достаточно познакомиться с научным наследием М. Я. Мудрова. Любопытно одно перечисление названий: «Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача», «Слово о способе учить и учиться медицине практической или деятельному врачебному искусству при постелях больных», «Слово о пользе и предметах военной гигиены, или науке охранять здоровье военнослужащих» и др. Каждое такое «слово» по сути дела – актовая речь, приуроченная к тому или иному торжественному событию.

Круг выступлений Мудрова прежде всего свидетельствует о широте его интересов: от вопросов должного поведения врача у постели больного (сегодня эти проблемы – компетенция особой науки, получившей название деонтологии) до основ военной гигиены. Кстати, заметим, что ряд современных исследователей доказывает текстуальное совпадение документа декабристов об организации народного здравоохранения с работой М. Я. Мудрова «Слово о пользе и предметах военной гигиены…».

Уровень врачебных знаний о сущности многих болезней в первой четверти XIX века был весьма ограничен. Как заметил один из современников Мудрова, все достоверные сведения о них могли уместиться на ногте мизинца. В этих условиях особенно логичны и оправданны проповедуемые Мудровым принципы симптоматической терапии: «Не должно лечить и самой болезни, для которой часто названия не находим, не должно лечить и причины болезни, которые часто ни нам, ни больному, ни

окружающим его неизвестны, а должно лечить самого больного – его состав, его орган, его силы».

Свои мысли он выражал ярко и лаконично, и многие его высказывания быстро становились поговорками: «Легче предохранять от болезней, нежели их лечить»; «Посредственный врач скорее вреден, чем полезен» (это Мудров понимал даже в то время, когда общее число врачей в России не превышало 8 тысяч); «И душевные лекарства врачуют тело»; «Твоя аптека – вся природа»…

Он считал, что нет двух одинаковых больных. При лечении, по его мнению, следует учитывать особенности пациента, и не только связанные с возрастом, полом, но и социальным положением: «…Бедным покой, добрая пища и средства крепительные, богатым – труд, воздерживание, средства очищающие».

Если вспоминать заслуги М. Я. Мудрова перед отечественной медициной, то нельзя не сказать, что он один из первых в России стал применять перкуссию (выстукивание) и аускультацию (выслушивание) сердца и легких.

Приоритет использования этих физических методов диагностики в медицине принадлежит венскому врачу Леопольду Ауенбруггеру. Еще в 1761 г., наблюдая, как трактирщики выстукивают бочки и по высоте звука узнают, сколько в них вина, он решил таким же образом определять, имеется ли скопление жидкости в грудной полости. Однако предложение его быстро было забыто и только в начале XIX века благодаря трудам выдающихся французских терапевтов Лаэннека и Ж. Корвизара получило распространение. Лаэннек же считается изобретателем стетоскопа.

Первоначально выслушивание легких и сердца производилось непосредственно ухом. Но однажды, во время визита к молодой и стыдливой пациентке, чтобы не смущать ее, Лаэннек поставил между ухом и грудью больной трубочку, свернутую из тетради, и убедился, что благодаря этому более точно локализует сердечные тоны.

М. Я. Мудров

И. В. Буяльский

М. Я. Мудров сразу по достоинству оценил эти простейшие методы исследования больного, которые до сих пор, наряду с определением пульса и температуры тела, являются обязательными, а порой и важнейшими элементами при постановке диагноза.

М. Я. Мудров много сделал для подготовки национальных врачебных кадров; одно время он даже был деканом медицинского факультета Московского университета, и

несколько поколений российских медиков обязаны ему высоким уровнем клинического образования. Благодаря его энергии в 1813 году был восстановлен медицинский факультет университета, пострадавший от наполеоновского нашествия. По его настоянию в систему обучения студентов были введены практические занятия у постели больного.

Однако М. Я. Мудрое был живым человеком, а не литературным персонажем эпохи классицизма. И он был дитя века – в нем соединились бескорыстие и страсть к деньгам, демократизм и барское высокомерие. По свидетельству Н. И. Пирогова, слушавшего его лекции в Московском университете, он держал себя как вельможа или важный сановник. В общении со студентами говорил им «ты», правда, смягчая вольное обращение словом «душа». Во время лекции мог отпустить патриархальную шутку сомнительного свойства, а порой вместо разговора о болезнях углубиться в воспоминания о своем путешествии по Европе, о восхождении на ледники Альпийских гор и т. п.

Будучи одним из самых популярных, умелых и удачливых московских врачей, М. Я. Мудров нажил большое состояние. Визитной карточкой материального благополучия профессора был его экипаж: он ездил по городу в своей карете, возможно даже из «кованого серебра 84-й пробы» (как писал о московских богачах в «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин), запряженной четверкою лошадей с ливрейными лакеями на запятках.

Около дома Мудрова постоянно обитали толпы больных и нищих, приходивших за помощью. Свою лечебную практику Матвей Яковлевич строил таким образом, что бедных, как он признавался, лечил за счет богатых, требуя от последних чрезвычайно высокие гонорары.

У Мудрова была большая уникальная библиотека. Но когда в 1812 году разгорелся московский пожар, он бросил все свое богатство, составлявшее, по его выражению, «ученую роскошь», и спас только 40 томов «скорбных листов», написанных им «при самих постелях больных», – 40 рукописных книг, в которых сконцентрирован его огромный и неповторимый клинический опыт.

М. Я. Мудровым одним из первых в отечественной медицине была разработана особая система расспроса больного, которую впоследствии развил и усовершенствовал выдающийся русский терапевт второй половины XIX века Г. А. Захарьин.

Мудров писал: «Чтобы узнать болезнь подробно, нужно врачу расспросить больного: когда болезнь его посетила в первый раз; в каких частях тела показала первые ему утеснения; вдруг ли

напала, как сильный неприятель, или приходила яко тать в нощи? Где первое показала свое насилие?…»

Несколько историй болезни Мудров собственноручно вписал в красную с золотым обрезом и украшениями сафьяновую книгу, которая долгие годы служила образцом ведения историй болезни для врачей и студентов.

До трагической гибели поэта М. Я. Мудров не дожил.

Х. Х. Саломон

И. Ф. Мойер

Подобно тем врачам, которые идут, как он писал, туда, где «ад источает всю лютость и искусство к убийству и мучению смертных», он сам ушел на борьбу с эпидемией холеры и погиб в

расцвете творческих сил, заразившись от больного. Умерших от холеры хоронили на отдельных кладбищах. Похоронный обряд совершали ночью при свете смоляных факелов. На одном из таких заброшенных холерных кладбищ на Выборгской стороне находилась могила М. Я. Мудрова.

На памятнике замечательному доктору было написано, что он скончался в 1831 году «на подвиге подавання помощи зараженным холерою в Санкт-Петербурге и пал оной жертвою своего усердия. Полезного житья его было 55 лет».

3

Продолжим, однако, описание физического развития Пушкина. Сестра поэта, вспоминая детские годы, свидетельствует: «…своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкой Марьею Алексеевною, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукодельем… Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив…»

Когда Иван Пущин познакомился с двенадцатилетним Пушкиным, неуклюжести, вялости не было и в помине. Это был живой, подвижный, быстроглазый мальчик.

По-видимому, родительские укоры и насмешки привели к тому, что в шкале человеческих ценностей у него получили приоритет физическая сила и ловкость.

К занятиям в Лицее Пушкин был подготовлен лучше, чем многие его товарищи. Но он вовсе не думал это как-то выказывать. Напротив, как пишет И. Пущин, «все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр…».

Строгий распорядок шестилетней жизни в Лицее (подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера) с регулярным питанием, чередованием умственных занятий и отдыха, обязательными трехразовыми прогулками, хорошими гигиеническими условиями благоприятно отразился на его физическом развитии, а скромная обстановка его «кельи» (железная кровать, комод, конторка, за которой он занимался, стул, стол для умывальника) сделала его непритязательным в быту.

Примерно те же предметы, втиснутые в одну комнату (зато все необходимое под рукой), нашел И. И. Пущин, навестивший друга в Михайловском зимой 1825 года: «…В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах)».

Оставшись в целом доме один, он не только не собирался обживать пустующую его половину, но даже не выбрал себе комнату побольше.

Привычки юности, как и привязанности, – самые стойкие. И

через много лет он будет придерживаться почти лицейского распорядка. Правда, когда хорошо пишется, чтобы не спугнуть вдохновения, работает лежа в постели. «…Просыпаюсь в семь часов, пью кофей, и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть, – информирует он Наталью Николаевну из Болдина в 1833 году. – В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо».

В другой раз – из Михайловского осенью 1835 года: «…Я много хожу, много езжу верхом… Ем я печеный картофель… и яйца всмятку… Вот мой обед. Ложусь в 9 часов; встаю в 7…»

В еде Александр Сергеевич был неприхотлив, или, как однажды выразился П. А. Вяземский, лакомкой он не был, хотя имел любимые «блюда»: печеный картофель, моченые яблоки, варенье из крыжовника и некоторые другие «дары природы». Менее чем за час до смерти ему захотелось моченой морошки. Он с нетерпением ожидал, пока ее принесли. Вкус болотной ягоды – последнее приятное ощущение, которое испытал Пушкин.

По мнению одних, ростом Александр Сергеевич был мал, другие же пишут, что он был среднего роста. Однако почти все мемуаристы сходятся на том, что он был плечист, тонок в талии и сложен крепко и соразмерно. Да и сам Александр Сергеевич об этом прекрасно знал. «…Мерялся поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы, – писал он брату из Михайловского и, чуть-чуть кокетничая, с улыбкой заключил: – След из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины».

Что же касается разнотолков о росте Пушкина, то спор этот легко разрешим.

Художник Г. Г. Чернецов, работая над известной картиной «Парад на Царицыном лугу», в апреле 1832 года писал с натуры группу поэтов: А. С. Пушкина, И. А. Крылова, В. А. Жуковского и Н. И. Гнедича. Под изображением Пушкина рукой художника помечено: «…ростом 2 арш. 5 верш, с половиной», что в переводе на десятичную систему составляет 166,74 см, т– е. по тем временам рост вполне средний.[2]

Александр Сергеевич постоянно поддерживал хорошую физическую форму. Он был неутомимым ходоком. Прогуливался часто с тяжелой (по определению кучера Пушкина П. Парфенова, девятифунтовой) железной палицей, которую к тому же нередко подбрасывал и ловил на лету. Верховая езда была его страстью. Ему седлали то прекрасного аргамака, то крестьянскую лошадку, которой за это перепадал овес. Александр Сергеевич дорожил репутацией хорошего наездника и однажды, повредив во время

скачки руку, убеждал П. А. Вяземского, что он не свалился с лошади, а упал на льду с лошадью: «Большая разница для моего наезднического честолюбия».

Летом, находясь в Михайловском, Пушкин подолгу плавал в Сороти, а зимой пред завтраком принимал ванну со льдом. Правда, ванной служила большая бочка, которую наполняли водой. Кучер Александра Сергеевича вспоминал: «…утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да иназад, потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе».

К этому надо еще добавить его любовь к русской бане, которую он называл «наша вторая мать»: ведь после хорошей парилки человек как бы рождается заново. А Пушкин знал в этом толк: выпарившись на полке, он бросался в ванну **со** льдом и снова уходил на полок. И так по многу раз.

Необходимость защищать свою честь с оружием заставляла постоянно тренировать глаз и руку. Особенно тщательно он готовился к поединку с графом Ф. И. Толстым, прозванным «Американцем», характеристика которого представлена Грибоедовым:

> Ночной разбойник, дуэлист,
> В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
> И крепко на руку нечист…

Стрельба в цель из пистолета входила в круг повседневных занятий Пушкина во время южной ссылки и позже – в Михайловском, где он даже оборудовал в подвале тир.

При случае охотно сражался на рапирах, проявляя при этом мастерство. Молодой офицер Ф. Н. Лугинин, который общался с Пушкиным в Кишиневе, записал в своем дневнике: «…дрался с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь». Через несколько дней снова запись: «…опять дрался с Пушкиным, он дерется лучше меня иследственно бьет…»

Пушкин был легок на подъем и, когда выдавалась возможность, с радостью отправлялся в далекую дорогу. «Путешествия нужны мне нравственно и физически», – писал он. Но даже кратковременная перемена места жительства после возвращения из ссылки в 1826 году и до самой смерти была сопряжена с унизительной необходимостью обращаться за разрешением к Бенкендорфу.

Благотворно отражались на его здоровье и творчестве «побеги» из столицы в деревню – «обитель дальнюю трудов и чистых нег». Недаром в неоконченном «Романе в письмах» он

сравнивает деревню с кабинетом, в котором приличествует находиться порядочному человеку.

В переписке Пушкина можно встретить гигиенические советы. «…Ты пишешь, что потерял аппетит и не завтракаешь так, как бывало, – отвечает он своему старинному знакомому М. О. Судиенке. – Это жаль, делай больше физических упражнений, приезжай на почтовых в Петербург, и аппетит вернется к тебе…»

Особенно часто он дает советы Наталье Николаевне, выступая как любящий и заботливый муж.

В истории болезни не принято приводить описание портрета пациента, хотя в быту первый признак, по которому определяют, здоров ли человек или болен, – его внешний вид, выражение лица, глаза, голос. В свое время даже получили права гражданства так называемые физиогномисты – наблюдательные, а может, и проницательные люди, пытавшиеся судить о внутреннем состоянии испытуемого по чертам его лица и мимике. Заметим, кстати, что хороший врач почти всегда в какой-то степени физиогномист.

Известно, что Александр Сергеевич к своей внешности относился весьма критично.

Припоминая слова покойной няни, он писал о себе Наталье Николаевне осенью 1835 года: «Хорош никогда не был, а молод был…»

А вот благодарственные строчки художнику О. А. Кипренскому – признанному главе романтического направления в живописи, создавшему один из лучших портретов поэта:

…Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

По воспоминаниям современников, на полотне работы О. А. Кипренского, а также на ряде гравюр с него (особенно Н. И. Уткина) было наиболее живо схвачено выражение лица Пушкина. Правда, близкий друг Александра Сергеевича Вера Федоровна Нащокина утверждала, что ни один из его портретов не передает и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз.

Для представления об облике поэта может немало дать гравюра Т. Райта, о которой И. Е. Репин отозвался следующим образом: «Обратите внимание… что в наружности Пушкина отметил англичанин! Голова общественного человека, лоб мыслителя. Виден государственный ум…»

Это изображение Пушкина созвучно высказыванию о нем А. Мицкевича, переданному П. А. Вяземским: «…Пушкин, коего

талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах…»

Масштабность и ясность государственного мышления Пушкина отмечалась не только великим польским поэтом, но и многими иностранными дипломатами, которым доводилось встречаться с ним в Петербурге. И даже только что коронованный Николай I после долгой беседы с Пушкиным, доставленным из Михайловского в Москву, вынужден был во всеуслышанье назвать его умнейшим человеком России.

Александр Сергеевич знал, что вдохновение преображало его, и поэтому отказывался позировать скульптору, боясь «мертвой неподвижности», в которой будет запечатлено его «арапское безобразие». («…Когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым…» – отметила в своем дневнике 21 мая 1831 года наблюдательная и умная женщина Долли Фикельмон.)

В фиктивной подорожной от 25 ноября 1825 года, с которой Пушкин под видом слуги своей тригорской соседки П. Осиповой собирался нелегально выехать в С.-Петербург, Александр Сергеевич собственноручно (лишь несколько измененным почерком) так описал свои приметы, чуть-чуть уменьшив рост и прибавив возраст: «…росту 2 арш. 4 верш., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29…»

У Пушкина были большие выразительные глаза, ослепительно белозубая улыбка и красивые, завивающиеся на концах волосы. В юности, согласно романтической моде, он носил кудри до плеч. Затем на смену им пришла более степенная прическа и густые баки. Правда, с возрастом через «поэтическую» шевелюру стала просвечивать лысина и волосы вились меньше.

В молодые годы, когда, надо полагать, Пушкин особенно лелеял свои локоны, он вынужден был несколько раз с ними расстаться.

> Я ускользнул от Эскулапа
> Худой, обритый, но живой… —

писал он летом 1819 года своему приятелю по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардту.

В Кишиневе поэт выделялся в военной среде «партикулярным» платьем и обритою после горячки головою,

которую прикрывал, не желая носить парик, красной ермолкой.

Вряд ли Пушкин согласился бы на такое опрощение своей внешности, если бы не вынужденные обстоятельства – очень тяжелое течение «гнилой горячки»,[3] как была названа болезнь, которой он страдал в 1818–1820 годах.

Для врача не имеет значения, атеист его пациент или верующий, каких жизненных принципов придерживается. Хотя, надо заметить, знание любых особенностей личности может существенно помочь выработке тактики поведения с больным. Так, например, от малодушного человека надо всячески скрывать опасность заболевания, тогда как человек мужественный в ряде случаев должен получить необходимую информацию, которая поможет ему собраться, мобилизовать свои силы.

Прежде чем перейти к уточнению перенесенных Пушкиным заболеваний, попытаемся составить представление о психологических особенностях личности поэта.

Сделать это необычайно сложно – современники его порой противоречат друг другу, потому что Пушкин менялся не только в разные периоды своей жизни, но и в течение одного дня и даже часа. Об этом пишет, в частности, А. П. Керн: он был неровен в обращении, «то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту…»

В письме к своему приятелю В. П. Зубкову, с которым Александр Сергеевич некоторое время после возвращения из Михайловской ссылки был душевно близок и откровенен, он так определил негативные стороны своего характера, которые порой ввергали его в «тягостные раздумья»: «…неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно…»

В другой раз, в разговоре с К. А. Полевым, братом и ближайшим сотрудником издателя «Московского телеграфа», Александр Сергеевич подчеркнул свою склонность к грусти и меланхолии. (Это, кстати, тонко подметил художник Кипренский, сумевший средствами живописи передать в его вдохновенном облике оттенок затаенной горечи.)

Осенью 1822 года в одном из писем А. С. Пушкин изложил 17-летнему брату Льву, вступающему в самостоятельную жизнь, свод правил, выработанных на основании личного опыта. Александр Сергеевич наивно полагал, что следование его советам может избавить нежно любимого брата от «дней тоски и бешенства», которые поэт пережил в полной мере.

«…Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь, – предупреждал он Льва Сергеевича. – С самого начала

думай о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; презирай их самым вежливым образом: это – средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет.

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит, особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать; люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе.

Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего, – предательство. – Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает.

Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно.

Никогда не забывай умышленной обиды, – будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление.

Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения.

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым…»

Логично предположить, что к большинству этих правил А. С. Пушкин пришел, как говорится, «от противного». Несложно представить тот горький жизненный опыт, который заставил 23-летнего поэта принять оборонительную позу.

Приведенные строки письма к брату невольно вызывают в памяти письмо Антона Павловича Чехова к брату Николаю, в котором тоже изложена программа поведения молодого человека в обществе. И хотя эти «кодексы» мало похожи (другое время, другая среда, другие люди), но главное, и Пушкин, и Чехов

считали, что собственный характер надо строить, если не хочешь оказаться под ногами или потерять собственное лицо. Оба писателя ценили в людях силу характера.

Александр Сергеевич, хотя и проповедовал холодность, не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне и, по воспоминаниям современников, был пленителен, когда что-нибудь приятное волновало его, и неудержим во гневе, когда сталкивался с высокомерием, хамством, подлостью.

Как здесь не вспомнить поразившие А. И. Тургенева слова псалма, который дьячок читал над телом только что умершего Пушкина: «Правду твою не скрыв в сердце твоем…»

Мемуарная литература отражает его эмоциональную обостренность, страстность, пылкость, порывистость, чувствительность к насмешкам, обидчивость, нетерпеливость, неистощимую подвижность ума, влюбчивость… Характеристику различных граней личности Пушкина можно продолжать до бесконечности. Но, пожалуй, доминирующими свойствами его характера были неистребимое стремление к независимости, самоутверждению, свободомыслию, глубокая вера в собственное достоинство и постоянная, недремлющая готовность защищать свою честь пером и оружием. При этом честь он понимал значительно шире, чем только собственное человеческое достоинство и репутацию своей жены: это – и доброе имя его предков, и авторитет учителей, и русский язык, и русская литература…

С детства нам памятен эпиграф к «Капитанской дочке»: «Береги честь смолоду».

Эту пословицу можно было бы предпослать биографии самого Александра Сергеевича. Любопытно отметить, что среди рукописей Пушкина сохранился неиспользованный набросок введения к «Капитанской дочке», написанного от лица автора записок. Под введением рядом с датой стоит место написания: «Черная речка».

Если вспомнить эпиграф к повести, то совпадение, хоть и случайное, но знаменательное: он так и погиб на этой самой «Черной речке» – «Невольник Чести», как назвал его М. Ю. Лермонтов.

Жизнь поэта протекала, как принято говорить сегодня, в условиях постоянного стресса: конфликт с великосветским обществом, ссылки, доносы, поднадзорность, аресты и казнь друзей, иезуитская цензура, безденежье, семейные неурядицы, камер-юнкерский наряд, потеря взаимопонимания с единомышленниками – и все это при его повышенной впечатлительности.

Его притесняли, травили, пытались унизить.

Унижения начинались с замечания царя об одежде поэта на балу у французского посланника («…Вы могли бы сказать Пушкину, – поручает он Бенкендорфу, – что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах…») до «высочайшего» мнения о «Борисе Годунове» с рекомендацией переделать его в «историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта», переданного через того же царского сатрапа. (В остроумнейшей статье А. С. Пушкина о Вольтере, опубликованной в 1836 году в «Современнике», можно было прочитать почти не замаскированный упрек поэта Николаю I: «К чести Фридерика II скажем, что сам от себя король… не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света…»)

На следующем этаже светской иерархии плели интриги и пакостили Пушкину осмеянные им министры, генералы, дипломаты – все эти Воронцовы, уваровы, нессельроде, геккерены.

На еще более низком уровне злобствовал Фаддей Булгарин – тайный агент царской охранки, русский Видок, «сволочь нашей литературы», как аттестовал его Пушкин. Но от этого он не был менее опасен: в руках Булгарина была пресса, а следовательно, возможность воздействовать на читательские мнения, на публику.

Травля Пушкина Булгариным началась после поражения декабрьского восстания, но апогея достигла в 1830 году, когда Булгарин напечатал в своей «Северной пчеле» пасквиль, в котором, чуть-чуть завуалировав имя поэта, обливал его грязью. При этом все обвинения были заимствованы из архивов ведомств Бенкендорфа – Дубельта, и даже фразеология выдержана в духе сотрудников Третьего отделения.

Заклеймив Булгарина как сыщика в полемических статьях и эпиграммах, Пушкин, кроме того, пишет его хозяину – Бенкендорфу: «…г. Булгарин, который говорит, что имеет у Вас влияние, стал одним из самых заклятых моих врагов… После гнусной его статьи против меня я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить Вас о моих отношениях к этому человеку, потому что он может мне причинить безграничный вред…»

В мемуарной литературе встречаются высказывания о суеверности Пушкина. Близкий его друг С. А. Соболевский даже выступил со статьей «Таинственные приметы в жизни Пушкина», в которой, в частности, утверждал, что сосланный в Михайловское поэт не оказался в декабре 1825 года на Сенатской

площади только благодаря чистой случайности: он решил тайно навестить друзей и уже выехал из деревни, но сперва ему дорогу перебежал заяц, а потом он встретил священника – и то и другое служит дурным предзнаменованием, и именно это заставило его повернуть назад.

Как вспоминает соседка Пушкина по имению М. И. Осипова, поездка отменилась в силу тех же причин. Но она пишет, что было это уже через несколько дней после восстания, о котором поэт узнал от кучера Осиповых, вернувшегося из столицы.

Этот вариант кажется более правдоподобным: понятно первое импульсивное движение Пушкина – в Петербург, к друзьям, братьям, товарищам, как он неоднократно именовал в письмах участников восстания. По дороге наступило отрезвление – стала очевидной бессмысленность этой поездки. Надо было найти причину возвращения в Михайловское. А вот и хороший повод: заяц, священник. Жестокая расправа с декабристами потрясла Пушкина. Близость его к восставшим и популярность в их среде его стихов не были тайной для правительства. На рукописи пятой главы «Евгения Онегина» в память об этих страшных событиях, которые не переставали терзать его, сохранился рисунок виселицы с телами пяти повешенных и оборванная на полуслове фраза: «И я бы мог, как…»

О вере Пушкина в приметы и предзнаменования свидетельствует также история с гадалкой Киргоф. Мрачные ее пророчества запали в душу поэта и тревожили его.

Н. И. Пирогов

Н. Ф. Арендт

В то же время сохранились и другие, противоречащие этим свидетельства. Вспомним зафиксированную Жуковским (по-видимому, со слов прислуги) хронологию дня дуэли. «…По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. – Возвратился, – (принес) велел подать в кабинет большу(ю) шубу и (поехал) пошел пешком до извозчика. – Это было ровно в 1 ч…»

Во все времена вернуться с дороги – одна из самых плохих примет: пути не будет. Это не остановило Пушкина, хотя он вовсе не искал собственной смерти и рассчитывал на благоприятный для себя исход поединка. «…Поэт располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то, на свободе, предполагал заняться историей Петра Великого», – со слов А. Н. Вульфа, близко знавшего Пушкина, записал один из его ранних биографов.

Поэзия Пушкина чужда мистики, и сам он в 1826 году призывал Дельвига: «…не будем ни суеверны, ни односторонний. Но я не берусь опровергать утверждения современников поэта.

Как верно заметил однажды о творческом методе Пушкина П. А. Вяземский, он никогда не писал картин по размеру рам, заранее изготовленных. Так и к живому Пушкину нельзя подходить с заданными мерками: он был во всем неоднозначен.

4

Источники информации о перенесенных А. С. Пушкиным болезнях разнообразны: это – и его письма, и воспоминания современников, и очень редко – медицинские документы, составленные, к сожалению, не всегда грамотно.

Так, например, в рапортах врача Ф. О. Пешеля о заболеваниях Александра Сергеевича во время его пребывания в Лицее фигурируют не диагнозы, а самые общие симптомы: «нездоров», «головная боль», даже просто – «больной» и чаще всего (7 из 1 6 обращений к врачу) «простуда». Каждое из этих состояний может быть обусловлено различными причинами. Не вызывает разночтений только одно заключение: «Опухоль от ушиба щеки».

По-видимому, это были не очень опасные для здоровья Пушкина болезни. Подтверждение тому – кратковременность пребывания на госпитальной койке: два-три дня, максимум – пять дней.

Вынужденное уединение Александр Сергеевич использовал для сочинения стихов. Его навещали друзья. Пущин сохранил для потомства сцену, когда поэт читал в лазарете «Пирующих студентов»:

«…После вечернего чая мы пришли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья, досужный час настал,
Все тихо, все в покое… – и проч.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он весь был тут, в полном упоении… Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем:

Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от

неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска…»

Врач Ф. О. Пешель, которому было доверено здоровье лицеистов, проработал в штате этого привилегированного учебного заведения с его основания до 1842 года и дослужился до высокого чина статского советника.

В пушкинскую пору доктор был весьма легкомысленным; он забавлял лицеистов своими неудачными любовными похождениями, анекдотами и уморительным русским языком. Барон М. А. Корф остроумно назвал его добрым человеком, «о котором могли отзываться дурно разве только его больные».

Занимаясь медицинской практикой, Пешель придерживался принципа «не вреди» и прописывал лекарства (чаще всего из солодкового корня), которые не оказывали какого-либо влияния на течение патологического процесса. Молодой и крепкий организм его пациентов сам справлялся с болезнями, благо они не были очень серьезными.

Но как это ни парадоксально звучит, жизнь Александра Сергеевича подвергалась смертельной опасности именно во время пребывания его на больничной койке.

Двадцатилетний «дядька» из вольноопределяющихся, Константин Сазонов, который прислуживал Пушкину в лазарете, 18 марта 1816 года был изобличен как уголовный преступник, убийца и грабитель, совершавший разбои в Царском Селе. Это дало повод поэту выступить с эпиграммой, поставив рядом матерого убийцу и незадачливого врача:

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым;
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под косою;
Сазонов был моим слугою,
А Пешель – лекарем моим.

Право, превосходные успехи Пушкина в словесности и фехтовании, отмеченные в свидетельстве об окончании Лицея, сошлись вместе в его эпиграммах.

В июне 1817 года А. С. Пушкин покинул Лицей и, расставшись с верными друзьями, переехал в Петербург к родителям.

Вдруг обретенная свобода и кажущаяся независимость вскружили ему голову. Началась безудержная жизнь: балы, театры, пирушки. Пушкин – кумир «золотой» столичной молодежи. На поэзию почти не оставалось времени. Жуковский и Батюшков тревожились за его будущее. Неизвестно, чем бы все

это кончилось, если бы не тяжелая болезнь, которая, как он сам выразился, остановила на время избранный им образ жизни.

В начале декабря 1817 года Пушкин заболел «гнилою горячкой».

Болезнь эта стала одним из поворотных моментов в его биографии. Вряд ли иначе спустя шесть лет он вспомнил бы о ней на той же странице своих «Записок», на которой оценивал многотомную «Историю» Н. М. Карамзина. Расходясь с историографом в ряде принципиальных, политических вопросов, Пушкин отдавал должное писательскому и научному подвигу – двенадцатилетнему затворничеству Карамзина в работе над книгой. По-видимому, балансирование на грани жизни и смерти заставило поэта еще раз задуматься о своем назначении.

А о критичности ситуации свидетельствовало отчаяние родителей и неуверенность лечащего врача в исходе заболевания: «Лейтон за меня не отвечал», – лаконично записал Пушкин.

Что за болезнь «гнилая горячка», которую перенес поэт?

Ответить с уверенностью на этот вопрос сегодня нельзя, так как понятие «горячка» объединяло все тифы, малярию, грипп и разные лихорадочные состояния. Правда, между горячкой и лихорадкой существовала некая разница. В. И. Даль[4] определил ее следующим образом: «Обычно *лихорадкой* зовут небольшую и недлительную горячку, а более перемежную, а *горячкой* – длительную и опасную, например нервную, желчную, гнилую и пр.».

Определение «гнилая» дает основание предположить, что горячка вызвана воспалительным процессом, хотя в клинической картине заболевания, вернее, в том, что нам известно о ней, не было признаков воспаления какого-либо органа, включая легкие и почки. Я склонен считать, что Александр Сергеевич болел тяжелой формой малярии. В пользу этого предположения – рецидивы заболевания в последующие два года и эффект от лечения хиной, которое в 1820 году провел доктор Е. П. Рудыковский.

Тогда, в 1817 году, штаб-доктор Я. И. Лейтон применил только начинавший входить в практику жаропонижающий метод. Сегодня для получения понижающего температуру тела эффекта назначают аспирин или другие производные салициловой кислоты. Во времена Пушкина этих средств еще не знали и с той же целью пользовались холодной водой. Лечение водой импонировало главному врачу русского флота Якобу Лейтону. Но в случае с молодым Пушкиным, учитывая особенно высокую лихорадку, он решился на «чрезвычайные меры» и применил ванны со льдом.

Тот факт, что Александр Сергеевич в конце концов, как говорится, несмотря на лечение выздоровел, тоже свидетельствует в пользу малярии – любой воспалительный процесс от такой терапии только бы усугубился.

Поправлялся он медленно. Почти всю зиму не выходил из дому.

«Чувство выздоровления – одно из самых сладостных, – писал Пушкин. – Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хотя это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью». Через несколько лет он об этом же скажет в стихах:

…я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;
Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены.

Продолжаю разорванную стихами цитату: «Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна явилась моему воображению со всей поэтической своей прелестью…» Известный наш филолог Ю. М, Лотман, написавший недавно одну из лучших биографий Александра Сергеевича, совершенно справедливо назвал потомка африканца Ганнибала человеком севера. Пушкин любил зимние морозы, но особенно «унылую пору» поздней осени, когда крепло его здоровье и наступал период наиболее интенсивных литературных трудов. Здесь самое время адресовать читателя к стихам поэта:

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…

В уединенной комнатке в квартире отца, как только стал поправляться, он с наслаждением принялся за поэму «Руслан и Людмила», начатую еще в Лицее. Много читал, восполняя пробелы в своем образовании, а беседы с друзьями, которых он принимал в полосатом бухарском халате и ермолке, прикрывавшей бритую голову, скрашивали длинные зимние вечера.

Заболевание повторилось примерно через полтора года и опять протекало с высокой температурой. Проболел он большую часть июня. Был момент, когда друзья и родственники опасались за его жизнь. Александр Сергеевич находился в это время в Петербурге, и дядюшка Василий Львович, со слов А. И. Тургенева, писал из Москвы в Варшаву П. А. Вяземскому: «Пожалей о нашем

поэте Пушкине. Он болен злою горячкою. Брат мой в отчаяньи, и я чрезвычайно огорчен такой печальною вестью…»

Но Александр Сергеевич, обладая колоссальным запасом жизненных сил и неисчерпаемым оптимизмом, на этот раз тоже благополучно справился с недугом. И уже 9 июля Василий Львович праздновал выздоровление племянника, а сам поэт взял отпуск в Коллегии иностранных дел, где числился на службе, и, еще «полубольной», на месяц укатил в Михайловское поправлять здоровье.

Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода, —

писал он В. В. Энгельгардту в известном стихотворении, которое здесь уже цитировалось («Я ускользнул от Эскулапа худой, обритый – но живой…»).

В Михайловском он хорошо окреп; но волосы, разумеется, за это время отрасти не успели, и осенью 1819 года можно было наблюдать, как Александр Сергеевич где-нибудь в ложе театра или на балу, сняв с головы парик, обмахивался им, будто веером.

Болезнь привязалась к Пушкину и еще через год навестила его снова. На этот раз она захватила его в Екатеринославле вскоре после прибытия к месту новой службы, как именовалась фактическая ссылка.

Сам Александр Сергеевич считал, что причина болезни в простуде: «…выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью…» Хотя, как можно судить по воспоминаниям доктора Е. П. Рудыковского, это была типичная малярия с периодическими приступами (или, как тогда выражались, пароксизмами) лихорадки, сменяющимися ощущением полного здоровья.

Больному повезло: в это же время в Екатеринославле по пути на Кавказ оказалась семья Раевского, в свите которого был врач – уже упоминавшийся нами Евстафий Петрович Рудыковский.

Вот как доктор вспоминал о первой встрече с пациентом, к которому его привел приятель Пушкина – младший сын генерала:

«…Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек – небритый, бледный и худой… Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.

– Чем вы тут занимаетесь?

– Пишу стихи.

«Нашел, – думал я, – и время и место». Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня.

…Поутру гляжу – больной уж у нас; говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма.

Пишу рецепт.

– Доктор, дайте чего-нибудь получше; дряни в рот не возьму.

Что будешь делать, прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю. «Пушкин»: фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу, как самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины.

…И Пушкин выздоровел…»

Доктор Рудыковский, как мы видим, оказался хорошим практиком: он подобрал именно то лекарство, которое было необходимо больному малярией, и дал его, надо полагать, в большой, ударной дозе, о чем можно судить по выражению «закатил ему хины». Поэтому и болезнь как рукой сняло. «…Я лег в коляску больной; через неделю вылечился…» – позднее писал Александр Сергеевич брату, вспоминая о «счастливейших минутах жизни», которые он провел «посреди семейства почтенного Раевского».

Чуть только самочувствие Александра Сергеевича улучшилось, он принялся подтрунивать над своими спутниками, и прежде всего досталось его спасителю: Пушкин повысил скромного штаб-лекаря Е. П. Рудыковского в должности и в паспортную книгу коменданта Горячеводска вписал его как лейб-медика, вызвав переполох у местных медицинских властей. (Себя он скромно назвал – «недоросль».)

Познакомившись с Пушкиным ближе, Евстафий Петрович похвастался перед ним стихами собственного сочинения. Александр Сергеевич тут же выдал ему дружескую эпиграмму, обессмертив имя скромного врача и незадачливого поэта:

Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых.

Два месяца пребывания Пушкина на Кавказе в кругу добрых и заботливых друзей возродили его физически и духовно.

«…Воды мне были очень нужны и черезвычайно помогли, особенно серные горячие. (Продолжаю цитировать его письмо брату.) Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях

Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мной на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной…»

В 1829 году по дороге в Арзрум Александр Сергеевич вновь посетил горячие воды и нашел там большие перемены. Вместо наскоро построенных лачужек, в которых размещались ванны, он увидел великолепные дома.

«Кавказские воды представляют ныне более удобностей, – отметил Александр Сергеевич, – но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался…»

Не стану задерживать внимание читателей на эпизодических недомоганиях, легких травмах и мимолетных заболеваниях, упоминание о которых можно встретить в письмах А. С. Пушкина и даже стихотворных посланиях: «В глуши, измучась жизнью постной, изнемогая животом…» – сообщал он 7 ноября 1825 года П. А. Вяземскому в шутливом послании из Михайловского.

Александр Сергеевич всегда ценил здоровье и обрадовался, услыхав в Болдино, что крестьяне величают господ «титлом Ваше здоровье»: «Титло завидное, без коего все прочие ничего не значат».

Иногда ссылки на нездоровье – предлог, чтобы избежать визита или свидания.

«…Я поспешил бы придти, если бы не хромал еще немного и не боялся лестниц. Пока что я разрешаю себе бывать только в нижних этажах…» – пишет он своему преданному другу, доброй и заботливой Е. М. Хитрово, которая страстно, но без взаимности любила поэта.

Особенно часто Александр Сергеевич сказывается больным, чтобы не являться на обязательные рауты во дворец, по поводу которых как о пустой трате времени он иронизировал: «…Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься – вот уже и замена разговору…»

Однажды он таким образом не пошел поздравлять наследника престола с совершеннолетием, о чем рассказал в письме Наталье Николаевне: «…репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня

мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камерпажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил…»

Письмо это было перехвачено тайной полицией и передано царю. Возмущенный вопиюще-безнравственным поступком Бенкендорфа и Николая I, Александр Сергеевич отбросил всякую осторожность и с помощью тех же писем, которые, как он понимал теперь, прочитываются на самом верху, повел наступательную кампанию за элементарные человеческие права.

«Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство a la lettre.[5] Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilitй de la famille)[6] невозможно: каторга не в пример лучше», – высказался он в письме Наталье Николаевне 3 июня 1834 года и тут же указал, кому это замечание адресовано: «Это писано не для тебя; а вот что пишу для тебя». И далее повел спокойный «семейственный» разговор.

Теперь все его письма словно разделены невидимой (а иногда и видимой) чертой: одна часть – для жены, другая – для правительства, подсматривающего в замочную скважину:

«На того (Николая I. – Б. Ш.) я перестал сердиться, потому что, toute reflexion faite,[7] не он виноват в свингтве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к……, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman.[8] Ух, кабы мне удрать на чистый воздух» – это для царя и высшего света.

«…Вы, бабы, не понимаете счастия независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: Hier Madame une telle йtait dйcidйment la plus belle et la mieux mise du bal[9] – это уже для жены, впрочем, о том же самом.

«Репортуясь» больным, Александр Сергеевич жаждал получить хотя бы глоток чистого воздуха. Но был период, когда, используя болезнь, он надеялся на большее.

5

Как это ни странно звучит, но на болезни, словно на платья и прически, существует мода. Иногда эта «мода» обусловлена широким распространением соответствующих причин, способствующих более частому возникновению того или иного недуга (речь, естественно, идет не об инфекционных и эпидемических заболеваниях), и тогда статистика диагнозов отражает объективную действительность. Но случалось, особенно в далекие времена, что некоторые диагнозы ставились неоправданно часто. Таким «модным» для первой половины XIX века заболеванием были аневризмы.

Что понимали под этим словом?

В. И. Даль дает такое определение: «Расширение в одном месте боевой жилы (артерии); кровеная-блона».

Определение Даля требует пояснений. Артерия называлась «боевой жилой», потому что кровь в ней находится под давлением, бьет. Блона – это оболочка, все, что одевает, облегает. Блоной же во времена Даля называли желвак, уплотнение от ушиба. Таким образом, «кровеная-блона» может быть либо кровоизлиянием в результате травмы, либо уплотнением в стенке сосуда.

Надо сказать, что современное понятие аневризмы созвучно тому, о чем писал В. И. Даль. Аневризмой сегодня называют патологическое расширение просвета артерии, проявляющееся выпячиванием еестенки; то же самое относится к аневризме сердца.

Выпячивание развивается на участке замещения эластичной сосудистой стенки рубцовой тканью. Как правило, это происходит в результате хронического воспалительного процесса, поражающего сосуды, а также атеросклеротических изменений или травмы.

Аневризмы в практике современного врача встречаются довольно редко. Думаю, что и раньше они были не так распространены, как об этом писали. Возможно, в ряде случаев диагноз «аневризма» ставился больным с варикозным расширением вен, при котором тоже образуются мешковидные выпячивания стенки сосуда, – заболевание и сегодня довольно распространенное, но, как правило, не опасное и чаще всего не требующее специального лечения.

Я сделал столь пространное вступление, потому что, как стало известно из черновика письма А. С. Пушкина на имя А. И. Казначеева, правителя канцелярии М. С. Воронцова, Александр

Сергеевич страдал аневризмой: «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уж 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится».

Письмо это написано 22 мая 1824 года в связи с оскорбительной для поэта командировкой в Херсонскую губернию «на саранчу». У нас нет свидетельств, что в таком виде оно было отправлено адресату. Да и не в обычаях Пушкина жалостью к себе добиваться снисхождения: «Суровый славянин, я слез не проливал». Более того, в «Воображаемом разговоре с Александром I», написанном в шутливой, анекдотической форме, содержится серьезная мысль: Пушкин не может простить притеснителю своих обид и принять свободу из рук смилостивившегося монарха. В завершение аудиенции на вопрос Александра, надеялся ли поэт на его великодушие, вместо смиренного согласия «Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь…»

И хотя этот разговор воображаемый, фантазировать-то приходилось лишь за одну сторону.

В письме к тому же Казначееву, написанному спустя 10 дней после предыдущего, одновременно с прошением об отставке, он скажет: «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника…

Единственное, чего я жажду, это – независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее…»

Сосланный в Псковскую губернию, он вспомнит про свой «аневризм» и попросит у Александра I разрешения выехать на лечение в Европу: «…Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции…»

Прошение царю Александр Сергеевич решил передать через своего старшего друга, покровителя и наставника, поэта В. А. Жуковского. В сопроводительном письме, предназначенном Василию Андреевичу, Пушкин успокаивает его: «Мой аневризм носил я 10 лет и с божией помощию могу проносить еще года три…» И далее дает понять, почему он написал это письмо: «… Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен». Письмо Пушкина не было передано Александру I, а по совету Жуковского, с такой же просьбой к царю обратилась мать поэта. При этом были сделаны

некоторые уточнения: указано, что страдает он «аневризмом в ноге», а городом, в котором желательно было бы провести операцию, избрана Рига (здесь любопытно отметить, что в сохранившемся черновике неотправленного письма на имя Александра I А. С. Пушкин говорил о необходимости операции или продолжительного лечения по поводу аневризмы сердца).

В ответ на прошение Надежды Осиповны царь разрешил Пушкину «приехать в Псков и иметь там пребывание до излечения болезни».

Александр Сергеевич, узнав о «монаршей милости», прислал Жуковскому полное сарказма письмо:

«…Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволжского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. [10]

Несмотря на все это, я решил «я остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность его величества». И объясняет, почему не пользуется разрешением: «Дело в том, что 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось – либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства…»

Но на этом история с «аневризмом» не кончилась: Жуковский, обеспокоенный здоровьем Пушкина и чувствующий себя в какой-то степени виноватым в том, что не смог исполнить его просьбу, сам принялся искать хорошего хирурга, который согласился бы приехать в Псков оперировать поэта. И быстро нашел такого, благо это не составляло для него большого труда: его сводная[11] по отцу сестра Екатерина Афанасьевна Протасова была тещей известного дерптского хирурга И. Ф. Мойера.

Е. А. Протасова попала в Дерпт – этот университетский центр Прибалтийского края, – буквально убегая от В. А. Жуковского, который был страстно влюблен в ее старшую дочь Машеньку, отвечавшую ему взаимностью. Боясь кровосмешения, Екатерина Афанасьевна поспешно выдала Машеньку за И. Ф. Мойера.

Стихи Жуковского, посвященные Маше Протасовой, относятся к самым высоким образцам русской любовной лирики:

Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?…

Вынужденный брак этот оказался счастливым, но счастье – непродолжительным: в 1823 году вскоре после родов Мария Андреевна скончалась от туберкулеза легких, оставив на попечение матери маленькую Катю и другого, «взрослого ребенка» – Ивана Филипповича Мойера, который на всю жизнь сохранил преданность своей Маше. Говорят, что, умирая, он повторял имя жены, к которой уходил через 35 лет после ее смерти.

Благодаря Екатерине Афанасьевне Протасовой дом профессора Мойера стал островком русской культуры в иноязычном Дерпте. Здесь периодически гостил у сестры Жуковский, сюда вместе с поэтом Николаем Михайловичем Языковым приходил близкий приятель А. С. Пушкина, сосед его по Михайловскому Алексей Николаевич Вульф (оба они обучались в Дерптском университете). Наконец, чуть позже того времени, о котором идет речь, в доме И. Ф. Мойера сперва поселился, а потом, съехав на другую квартиру, столовался все пять лет своего пребывания в Дерпте будущий выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов. «Домашним человеком» у Мойера был также Владимир Иванович Даль – студент медицинского факультета, и братья Александр и Андрей Карамзины, и будущий писатель Владимир Александрович Соллогуб, и многие другие представители русской культуры, получавшие образование в Дерптском университете.

Все, кому доводилось бывать в этом доме, отмечали необычайную доброту и приветливость Екатерины Афанасьевны, оказывавшей покровительство молодым талантливым людям, приезжающим из России.

Имя Александра Сергеевича Пушкина, его стихи, еще даже не напечатанные, а рукописные, привозимые Василием Андреевичем Жуковским из Петербурга или Алексеем Николаевичем Вульфом прямо из поэтической столицы – Михайловского, часто звучали в гостиной этого дома. Поэтому, когда Жуковский попросил Мойера оперировать Пушкина, тот незамедлительно дал согласие ехать в Псков, чтобы спасти «первого для России поэта», как несколько высокопарно он выразился, и уже получил разрешение у попечителя учебного округа князя К. А. Ливена на отъезд.

Однако, прежде чем я продолжу рассказ о дальнейшем развитии этой в известной степени авантюрной истории, несколько слов о хирурге, которого Жуковский выбрал А. С. Пушкину.

Профессор И. Ф. Мойер был учеником знаменитого итальянского хирурга А. Скарпа, положившего начало

хирургической анатомии. Вкус к этому разделу науки Мойер сумел передать Н. И. Пирогову, который написал (кстати, в том же Дерпте, на бывшей кафедре Мойера) классическую работу – «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», сделавшую его имя всемирно известным. В этом руководстве для хирургов Пирогов показал оптимальные, т. е. наиболее безопасные и короткие пути, по которым скальпелем можно проникнуть с поверхности человеческого тела внутрь, чтобы легко и быстро отыскать и перевязать нужную артерию. «Хирургическая анатомия» Пирогова имела прямое отношение к методике оперирования аневризм. Но в то время, когда Александр Сергеевич впервые объявил, что страдает «аневризмом», Н. И. Пирогов только начинал учиться на медицинском факультете Московского университета.

Иван Филиппович Мойер, как его звали на русский манер, был не только учителем Пирогова, но старшим другом и восхищенным почитателем его крепнущего таланта. Когда молодой, полный замыслов и энергии Пирогов в силу ряда обстоятельств оказался без кафедры, Мойер по собственной инициативе уступил ему свое место и помог преодолеть целый ряд формальных препятствий к замещению профессорской должности.

Н. И. Пирогов в «Записках» с благодарностью вспоминает Ивана Филипповича:

«Это была личность замечательная и высоко талантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми, несколько щетинистыми волосами, с длинными, красивыми пальцами на руках, Мойер мог служить типом видного мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином. Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотою и ясностью и пластичною наглядностью изложения. Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепьяно и особливо пьес Бетховена можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепьяно, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих. Несколько близорукий, носил постоянно большие серебряные очки, которые иногда снимал при производстве операций…»

Кроме учебы у Скарпа, И. Ф. Мойер прошел большую практическую школу на войне 1812 года в одном из крупных военных госпиталей и был активно работающим хирургом,

имевшим хорошую репутацию.

Ко времени его знакомства с Н. И. Пироговым он уже охладел к науке, трудных и рискованных операций избегал, хотя по мнению такого авторитетного ценителя, как Николай Иванович, еще сохранил хирургическую ловкость, не терялся и не суетился за операционным столом. Пирогов вспоминал, как мастерски Мойер произвел трепанацию черепа и удалил пулю из головы у студента, раненного на дуэли; оперированный вскоре поправился.

Приезд в Дерпт нескольких талантливых профессорских стипендиатов воодушевил И. Ф. Мойера: вместе с молодыми людьми он часами просиживал в анатомическом театре над препарированием трупов.

Но несколькими годами раньше, когда к нему обратился В. А. Жуковский с просьбой о Пушкине, имя Мойера еще с полным основанием могло быть названо в ряду имен лучших хирургов России допироговского периода.

Поэтому Жуковский не понимал, чего еще хочет Пушкин, заклинающий Мойера не приезжать в Псков: «…Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его…

Позвольте засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение, как человеку знаменитому и другу Жуковского.

Но Василий Андреевич считал, что поэт напрасно капризничает, и настаивал на приезде Мойера: «…Я было крепко рассердился на тебя за твое письмо к сестре и к Мойеру… Прошу покорнейше уважать свою жизнь и помнить, что можешь сделать в ней много прекрасного, несмотря ни на какие обстоятельства. Следовательно, вот чего от тебя требую:…собраться в дорогу, отправиться в Псков и, наняв для себя такую квартиру, в которой мог бы поместиться и Мойер, немедленно написать к нему, что ты в Пскове и что ты дождешься его в Пскове. Он мигом уничтожит твой аневризм…»

«…Мне право совестно, что жилы мои так всех вас беспокоят – операция аневризма ничего не значит, и ей-богу первый псковский коновал с ними бы мог управиться…» – ответил ему уже рассерженный Пушкин.

В. А. Жуковский. С литографии Е. Эстеррейха.

На портрете подпись: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“, 1820, март 26. Великая пятница»

П. В. Нащокин. С рисунка Мазера

Друзья упрекали его в неблагодарности. Ситуация приобретала трагикомический оборот: поэт уже всерьез боялся, что хирурга привезут вопреки его желанию. Он написал А. Н. Вульфу в Дерпт: «…Друзья мои и родители вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять прислал назад эту бедную коляску. Вразумите его. Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад был с ним

познакомиться…»

Пушкин был уверен, что А. Н. Вульф остановит Мойера: Алексей Николаевич был единственным, кто знал, что никакой аневризмы нет, а есть разработанный ими совместно план бегства из ссылки через Дерпт, куда он должен попасть под видом больного.

Дальнейшее пребывание в Михайловском – в отрыве от друзей, общества, семьи, издателей – становилось невыносимым. Пушкин рвался на волю – и не только в мечтах.

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться… —

записал он в альбом Прасковье Александровне Осиповой 25 июня 1825 года в надежде на успех затеянного.

Это был уже не первый вариант освобождения. Остались не реализованными планы тайного отъезда во Францию или Италию с братом Львом и побега за границу с А. Н. Вульфом в платье его слуги.

Неудача с операцией чрезвычайно огорчила поэта. Спустя еще некоторое время в письмах к друзьям он продолжал вспоминать об этом:

«…Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, ultima ratio libertatis[12] – и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку!» – теряя всякую осторожность, писал он Вяземскому – так уж хотелось высказаться. И продолжал с грустной улыбкой: «Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством… выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике…

Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей жиле, а я об жилье. Каково?»

После возвращения Александра Сергеевича из ссылки Мойер встречался с ним у Жуковского, но никаких свидетельств о том, что они возвращались к обсуждению этой истории, не сохранилось.

Здесь же следует заметить, что и в последующие годы неоднократные просьбы А. С. Пушкина о разрешении выехать за

границу (в Париж, в Италию и даже в Китай с русской миссией) безоговорочно отвергались Бенкендорфом.

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем…

Настроение этого стихотворения, несомненно, навеяно не только неудачей первой попытки сватовства к Наталье Николаевне Гончаровой.

«…Никогда еще не видал я чужой земли, – с сожалением писал Александр Сергеевич в „Путешествии в Арзрум“. – Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России…»

Его стремление за границу вовсе не означало, что А. С. Пушкин хотел навсегда покинуть Россию. Об этом недвусмысленно он написал 19 октября 1836 года П. Я. Чаадаеву: «…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя… но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

К. Н. Батюшков. С рисунка О. Кипренского

И. И. Пущин. С гравюры неизвестного художника

Чтобы закончить эту главу, осталось только ответить на вопрос: случайно ли Александр Сергеевич решил выдать себя за больного аневризмой?

Полагаю, что нет.

И не только потому, что болезнь эта была «модной» и он, естественно, о ней слышал. Существенно, что Пушкин всегда мог представить доказательство имевшегося у него заболевания вен – пусть не аневризма, но «род аневризма», как он назвал его в прошении уже на имя Николая I. К прошению было приложено медицинское заключение за подписью инспектора псковской врачебной управы В. Всеволодова о том, что у Александра Сергеевича имеется «на нижних конечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровевозвратных жил (varicositas toticus cruris dextri)».

Аневризма считалась очень опасным заболеванием, к тому же требующим хирургического пособия. Однако оперативные вмешательства на сосудах в то время были далеко не ординарными: они выполнялись лишь единичными хирургами в университетских клиниках. Операции же на сердце не производились вовсе,[13] и поэтому версию об аневризме сердца Пушкин больше не развивал.

Кроме И. Ф. Мойера, можно было бы назвать еще несколько хирургов, которые имели опыт лечения такого рода больных: профессор медико-хирургической академии И. Ф. Буш и его ученик профессор Х. Х. Саломон, произведший за 25 лет работы 12 операций по поводу аневризм, лейб-медик Н. Ф. Арендт, предложивший собственной конструкции «аневризматическую

иглу».

Сообщения об операциях на сосудах в прошлом веке публиковались не только в медицинских журналах, но и в общей печати, как, к примеру, сегодня печатается информация о случаях пересадки сердца и других уникальных операциях. Так, в одном из номеров журнала «Отечественные записки» сообщалось, что профессор Н. Ф. Арендт в присутствии одиннадцати «знаменитых медиков» оперировал купца Параткова, которому он «первый в свете» с успехом перевязал большую аневризму наружной подвздошной артерии. Больной был чрезмерно толстым, и операция представляла для хирурга большие технические трудности. Из специальных публикаций известно еще несколько серьезных операций Н. Ф, Арендта на кровеносных сосудах, при которых ему удалось стать, как тогда выражались, «господином случая».

Кстати, первыми, за кем бросился Данзас, когда привез раненого А. С. Пушкина домой, были Н. Ф. Арендт и Х. Х. Саломон.

Но несомненно, наибольшим опытом лечения аневризм в те годы обладал другой ученик и помощник Буша, хирург-виртуоз профессор И. В. Буяльский, о котором его коллега Саломон говорил: «Если бы мне пришлось подвергнуться операции аневризмы, то я во всем свете доверился бы только двоим: Astley Cooper[14] и Буяльскому».

О результатах лечения аневризм в первой половине XIX века можно получить представление по отчетам Н. И. Пирогова. Зная, чего добивался он – выдающийся техник-оператор и знаток анатомии, не сложно представить себе потолок возможностей лучших хирургов тех времен. А результаты были весьма печальные: из 69 операций на крупных артериях 36, т. е. более половины, окончились неудачно, большинство этих больных умерло.

К счастью, А. С. Пушкину тогда не надо было оперироваться!

Срочная необходимость в квалифицированной хирургической помощи возникнет у него через 12 лет.

6

Александра Ивановича Герцена никто не посмеет упрекнуть в отсутствии мужества. Однако он отказался принять вызов на дуэль с человеком, казнь которого была для него «нравственной необходимостью», и так объяснил свое решение: «Доказывать нелепость дуэля не стоит – в теории его никто не оправдывает… но в практике все подчиняются ему для того, чтобы доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца – или его **почетной** смертью, или тем, что делает из него **почетного** убийцу…»

Во время конфликта с Г. Гервигом, приславшим вызов с требованием сатисфакции, А. И. Герцену еще не исполнилось сорока лет.

Почему Александр Сергеевич не был так же благоразумен?…

Не впервые А. С. Пушкин становился к барьеру. (Еще чаще дело не доходило до обмена выстрелами, а заканчивалось миром.)

Рисунки пистолета в рукописях поэта Т. Г. Цявловская назвала «сигналами дуэли». Она насчитала шесть таких тревожных сигналов: три – в первые годы после выхода из Лицея и три – в последние годы жизни. И припомнила около 15 «дел чести».

Случалось, поединок носил трагикомический характер. Его друг поэт Вильгельм Кюхельбекер – Кюхля вызвал Пушкина на дуэль за стихотворную шутку:

> За ужином объелся я,
> А Яков запер дверь оплошно —
> Так было мне, мои друзья,
> И кюхельбекерно и тошно!

Первым стрелял обиженный Кюхельбекер. Когда он начал целиться, Пушкин закричал его секунданту Антону Дельвигу: «Стань на мое место, здесь безопаснее!» Пистолет дрогнул, и пуля пробила фуражку на голове Дельвига. Автор эпиграммы от выстрела отказался.

Современники неизменно отмечали мужественное поведение А. С. Пушкина на поединках.

В Кишиневе на дуэль с Зубовым он принес черешню и, словно один из героев его повести «Выстрел», пока в него целились,

выбирал спелые ягоды и выплевывал косточки. Зубов, к счастью, промахнулся, а Александр Сергеевич от выстрела отказался, как поступил потом уже другой герой той же повести.

Не в обыкновении А. С. Пушкина было первым спускать курок. Это использовал Дантес: он выстрелил, не дойдя шага до барьера, отмеченного шинелью д'Аршиака.

Примеры мужественного поведения Пушкина столь многочисленны, что если их все вспоминать, то можно отклониться далеко в сторону.

Это – и его разговор с Николаем I после возвращения в Москву из ссылки, когда он не отрекся от только что казненных друзей, а сказал, что если бы 14 декабря оказался в столице, был бы с ними на Сенатской площади.

И его участие в боевом деле на Кавказе, когда, схватив пику убитого казака, он неожиданно для сопровождавших его офицеров бросился в кучу сражавшихся всадников. «Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке…» – вспоминал позднее генерал Н. И. Ушаков.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы,

«Дуновение чумы» он испытал во время пребывания в Арзруме, где специально посетил лагерь для чумных больных.

Не менее опасна была и холера. Но «колера морбус» – этот зверь, готовый забежать в Болдино и всех перекусать, как в шутливом тоне сообщал он в 1830 году в Петербург П. А. Плетневу, не очень пугала Александра Сергеевича. И только многочисленные карантины, преградившие ему дорогу в Москву к невесте, вызывали досаду и раздражение.

«…Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту, – вспоминал близко знавший Пушкина в период его южной ссылки боевой офицер И. П. Липранди. – Не могу судить о степени его славы и поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она „в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы“.

Неоконченная Александром Сергеевичем «Повесть из римской жизни», в которой много философских рассуждений о смерти, обрывается на высокой ноте Горациева стиха:

«Красно и сладостно паденье за отчизну».

Поразительным документом мужества и силы духа поэта является его последнее в жизни письмо, адресованное детской писательнице А. О. Ишимовой, которую он хотел привлечь для работы в «Современнике». Это был ответ на полученное накануне от Ишимовой приглашение побывать у нее 27 января:

«Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall[15] – Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

Деловое письмо это, проникнутое уважительным тоном к товарищу по перу, дышит абсолютным спокойствием. И если бы мы не знали, что оно написано за несколько часов до дуэли, то никогда в жизни не смогли бы угадать в человеке, зачитывающемся книгой для детей, бойца, готового к кровавой схватке.

Александр Иванович Тургенев, вернувшийся из Парижа и владевший важными для Пушкина документами Петровского периода, вспоминал, что незадолго до дуэли с Дантесом часто видел поэта веселым, полным жизни и творческих планов.

«Пушкин мой сосед, – писал А. И. Тургенев почти за месяц до дуэли. – Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое было прежде столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы…»

Так же и накануне дуэли они проговорили до темноты (и наблюдательный Тургенев не заметил никаких перемен в его настроении и поведении!), после чего, как нам теперь известно, А. С. Пушкин отправился искать себе секунданта.

Об этой же способности пушкинской мысли не пресекаться на «краю мрачной бездны» свидетельствует и другое: 26 января вечером, когда вопрос о дуэли уже был решен, он не забыл через П. А. Вяземского напомнить П. Б. Козловскому о заказанной ему для «Современника» научно-популярной статье о теории паровых

машин. «Принимая сие поручение, – писал Вяземский в примечании к статье, опубликованной уже после смерти Пушкина, – мог ли я предвидеть, что роковой жребий, постигнувший его на другой день, был уже непреложно отмечен в урне судьбы и что несколько часов позже увижу Пушкина на одре смерти и услышу последнее его дружеское прощание».

В день дуэли А. С. Пушкин ничем не выказывал тревожного состояния. В хронологической записке В. А. Жуковского фраза о пистолетах звучит резким диссонансом рядом со словами о радостном настроении поэта: «Встал весело в 8 часов – после чаю много писал – часу до 11 – го. С 11 обед. – Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни – потом увидел в окно Дантеса, в дверях встретил радостно. – Вошли в кабинет, запер дверь. – Через несколько минут послал за пистолетами…»

Не будем касаться трагических обстоятельств, приведших А. С. Пушкина к дуэли с Дантесом. Вспомним лишь условия поединка, разработанные секундантами противников. По желанию д'Аршиака, секунданта Дантеса, они были составлены в двух экземплярах на французском языке. Представляем этот текст в переводе П. Е. Щеголева:

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

Д'Аршиак предложил присовокупить к этому еще один параграф, исключающий какие-либо объяснения между противниками, но Данзас настаивал на использовании малейшей возможности примирения.

Пушкин согласился на все условия, даже не взглянув на них.

Смертельный исход поединка был предопределен близким расстоянием между противниками и повторным обменом выстрелами в случае промаха. Однако промах для таких мастерских стрелков, какими были Пушкин и Дантес, практически исключался, а убойная сила крупнокалиберного пистолета системы Лепажа на таком расстоянии имела по меньшей мере двойную «гарантию».

Дуэли в России были запрещены еще петровским указом 1702 года; все участники поединка, включая секундантов и врачей,[16] подлежали суровому наказанию.

Понимая, что эта дуэль получит громкую огласку и не останется без последствий, Александр Сергеевич хотел взять секундантом иностранного подданного – служащего английского посольства Мегенса, и только когда тот отказался, обратился к своему товарищу по Лицею К. К. Данзасу.

Выбор полковника К. К. Данзаса, по всей видимости, тоже не случаен: заслуженный офицер, получивший ранения в боях и отмеченный высокими наградами, он мог рассчитывать на снисхождение; к тому же он не делал карьеры и был человеком одиноким.

Специальным указом Николая I было определено «судить военным судом как Геккерена и Пушкина, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить о них особую записку, с обозначением также меры их прикосновенности».

Комиссия разбирала только дело Дантеса и Данзаса, так как секундант Дантеса д'Аршиак поспешно покинул Россию, а Пушкин в день опубликования царского указа скончался. О нем в решении военно-судной комиссии было сказано следующее: «… Преступный поступок… камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с Геккереном наказанию за написание дерзкого письма к министру нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю его смерти предать забвению».

Дантесу конечная инстанция военного суда определила стандартное для подобных дел наказание: «За вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, разжаловать в рядовые, с определением на службу по назначению инспекторского департаменте». Однако Николаю приговор этот показался слишком суровым, и он собственноручно написал: «… рядового Геккерена, как нерусского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

Расчет Пушкина в отношении судьбы Данзаса оправдался: в окончательном решении военно-судная комиссия, подвергнув Данзаса нестрогому дисциплинарному взысканию (гауптвахте), полностью реабилитировала его. И только лицейские друзья до последних своих дней не могли ему простить, что он не расстроил эту дуэль и не нашел средства сохранить жизнь поэта.

«…Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если бы я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь…» – писал из Туринска ссыльный Иван Пущин.

Отсутствие врача на месте поединка можно объяснить не только поспешностью, с которой шло приготовление к дуэли, но и нежеланием увеличивать число лиц, вовлеченных в противозаконные действия.

Дуэль состоялась в пригороде Петербурга, вблизи комендантской дачи. Биографы Пушкина прочертят потом на старой карте города его путь с Данзасом на Черную речку через Троицкий мост по Каменноостровскому проспекту и подсчитают, что от дома на Мойке до места дуэли расстояние составляет около 8 км. Поскольку это была самая короткая дорога, по ней же в карете Геккерена поэт спустя час после ранения возвратился домой.

По дороге на Черную речку у К. К. Данзаса блеснула надежда, что дуэль расстроится: на Дворцовой набережной встретили экипаж жены А. С. Пушкина. Но Александр Сергеевич смотрел в другую сторону, а Наталья Николаевна была близорука и не заметила мужа.

Знакомые раскланивались с ними, удивлялись столь поздней поездке за город, но никто не догадывался, зачем они туда ехали.

Александр Сергеевич спокойно сидел в санях. Завидев Петропавловку, пошутил: «Не в крепость ли ты везешь меня?» – «Нет, – ответил Данзас, – через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

К комендантской даче подъехали одновременно с Дантесом и его секундантом.

Чтобы укрыться от посторонних глаз и пронзительного ветра, площадку для дуэли выбрали в небольшой рощице, которая частично сохранилась до наших дней. В столетнюю годовщину здесь был установлен скромный гранитный обелиск. Но пожалуй, больше, чем этот памятник, о трагических событиях того дня напоминает расположенная поблизости станция метро «Черная речка», украшенная необычной скульптурой А. С. Пушкина. М. К. Аникушин изобразил поэта в полный рост; из-под накинутой на плечи крылатки видны опущенные в иконописном перекрестье

руки. За внешней отрешенностью угадывается сложнейшая гамма переживаний: и гнев, и боль, и решимость, и готовность к неотвратимому.

А. С. Пушкин. С гравюры Т. Райта

Зима в 1837 году была многоснежная. Секундантам пришлось проторить тропинку в глубоком, по колено, снегу. Большой снег не позволил отмерить широкие, размашистые шаги, и это еще усугубило условия поединка.

Шинелями обозначили барьеры.

Александр Сергеевич, закутанный в медвежью шубу, сидел на сугробе и спокойно взирал на приготовления.

Шли последние светлые минуты короткого зимнего дня.

Противники заняли исходные позиции и по сигналу Данзаса начали сближаться.

Пушкин стремительно подошел к барьеру и стал наводить пистолет. Это про себя писал он в «Кавказском пленнике»:

Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец.
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.

Дантес опередил его: он выстрелил, не доходя до барьера.

Пушкин упал лицом в снег.

Но еще не успело умолкнуть многоголосое эхо выстрела, как раненый, чуть-чуть приподнявшись, остановил сошедшего с позиции противника, требуя своего права на выстрел.

У Пушкина хватило сил твердой рукой навести пистолет и спустить курок. Увидав падающего навзничь Дантеса, он воскликнул: «Bravo!» – и потерял сознание, не зная, что только ранил противника в руку, которой тот прикрывал грудь.[17] Когда обморок прошел, Дантес был уже на ногах.

Между тем, как пишет П. Е. Щеголев, кровь из раны Пушкина «лилась изобильно». Она пропитала шинель под ним и окрасила снег.

Секунданты пытались на руках донести Пушкина до саней. Но это оказалось им не по силам. Тогда вместе с извозчиками разобрали забор из тонких жердей, который мешал проехать к тому месту, где оставили раненого.

Уложив Пушкина в сани, шагом поплелись по тряской дороге. У комендантской дачи встретили карету, которую на всякий случай прислал Геккерен-старший. Пушкина пересадили в карету, скрыв от него ее принадлежность противнику.

По дороге Александр Сергеевич сильно страдал, но не жаловался и только периодически терял сознание.

Если на месте поединка он высказал предположение, что у него повреждено бедро, то уже в карете понял, что пуля попала в живот.

«Боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев», – сказал он Данзасу, припомнив давнюю дуэль знакомого офицера, закончившуюся смертельным ранением в живот.

Чтобы лучше разобраться в характере ранения А. С. Пушкина, попытаемся в этом разделе его истории болезни рассмотреть траекторию пули в теле раненого.

В поединках того времени противники строго придерживались двух классических позиций: с открытой грудью и пистолетом перед собой, либо – повернувшись боком, когда правая рука с оружием частично защищает лицо и грудь.

Ш. И. Удерман, глубоко изучавший этот вопрос, считает, что Пушкин (как и Дантес) избрал вторую позицию, но в момент выстрела противника еще не успел довести тело до точного полуоборота. Это и определило проникновение пули кнутри от крыла правой подвздошной кости.

На первоначальном отрезке своего пути пуля благополучно миновала жизненно важные органы, пройдя ниже почки и позади петель кишечника. Затем, ударившись о крыло правой подвздошной кости с внутренней стороны, скользнула по его вогнутой поверхности, отщепляя острые мелкие осколки, и,

раздробив крестец, прочно засела в нем.

Повреждение костей таза с их богатыми нервными сплетениями, по-видимому, и создало у Пушкина впечатление, что пуля попала в бедро.

После ранения Александр Сергеевич потерял много крови. Но это не было кровотечение из крупного сосуда, иначе он, скорее всего, погиб бы на месте дуэли. Правда, В. И. Даль в записке о «Вскрытии тела А. С. Пушкина», к которой мы еще не раз будем возвращаться, указывает как на вероятный источник кровотечения на повреждение бедренной вены.

С Владимиром Ивановичем можно поспорить.

Бедренная вена лежит вне траектории полета пули. Сам Даль точно локализовал место ранения: «Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах[18] от верхней, передней оконечности чресальной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны…»

Он говорит о кровотечении из бедренной вены не категорично, а предположительно: «…вероятно из перебитой бедренной вены», тогда как это можно было установить наверняка не только при вскрытии, но и при перевязке раны.

Причина ошибки Даля, кажется, понятна.

Автопортреты А. С. Пушкина

Владимиру Ивановичу как другу покойного достались на память два бесценных подарка: перстень с изумрудом и черный сюртук, о котором П. И. Бартенев записал со слов Даля следующее: «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: „Эту выползину я теперь не скоро сброшу“. Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел

сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны».

В 1856 году И. И. Пущин, возвращаясь из сибирской каторги, посетил в Нижнем Новгороде В. И. Даля, который показал ему простреленный сюртук Пушкина. На сюртуке против правого паха была небольшая, с ноготок, дырочка от пули, которая, по-видимому, и навела Даля на мысль о ранении бедренной вены.

Однако В. И. Даль не учел, что, целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше, Александр Сергеевич поднял правую руку, а вместе с ней, естественно, полезла кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на одежде и раны на теле позволяет определить, как высоко была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целился в голову своего противника.

В шесть часов вечера, уже затемно, смертельно раненного поэта привезли домой. А. С. Пушкин нашел еще силы успокоить Наталью Николаевну и переодеться.

Данзас поспешил за доктором.

7

Не просто найти хирурга в вечернем Петербурге. Первым, на кого натолкнулся Данзас в метании по квартирам врачей и госпиталям, был крупный специалист по родовспоможению акушер В. Б. Шольц. Он понял Данзаса с полуслова и пообещал сейчас же привести к Пушкину хирурга.

Действительно, он вскоре приехал с Карлом Задлером. О серьезности ранения Пушкина Шольц уже слышал не только от Данзаса, но и от своего коллеги, который только что успел перевязать руку Дантеса.

Карл Задлер был главным врачом придворного конюшенного госпиталя, основанного в конце XVIII века для службы царского двора. Занимался он хирургией, но, судя по воспоминаниям знавшего его Н. И. Пирогова, хирургом был весьма средним.

К. Задлер проявлял активный интерес к истории России. В 60-е годы им было опубликовано несколько работ о различных деятелях эпохи Петра I и Екатерины II. Но Задлер оказался человеком недальновидным, он не оценил личности А. С. Пушкина, не понял, что живая история сама шла к нему в руки, и не оставил никаких литературных следов об этом своем врачебном визите.

В. Б. Шольц, в отличие от него, написал бесхитростные, почти протокольные воспоминания, которые, несмотря на погрешности стиля (именно так, на ломаном русском языке, он, сын прусского ротмистра, окончивший курс медицинских наук в Дерптском университете, и изъяснялся в жизни), создают представление не только о беспомощности медиков, но и о мужестве А. С. Пушкина, желавшего узнать неприкрытую правду о своем состоянии.

Вот несколько строк оттуда:

«…Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: **«плохо со мною».** – Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: **«Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови – скажите мне откровенно, как вы рану находили?»**

Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная.

«Скажите мне – смертельна?»

Считаю долгом Вам это не скрывать, – но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

«Je vous remercie, vous avez agi en honnkte homme envers moi – (при сем рукою потер себе лоб). – Il faut, que j'arrange ma maison». [19] – Через несколько минут сказал: **«Мне кажется, что много крови иде т?»**

Я осмотрел рану, – но нашлось, что мало – и наложил новый компресс.

Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?

Прощайте друзья!» (сказал он, глядя на библиотеку).

«Разве Вы думаете, что я часу не проживу?»

О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть…»

Прервем на время рассказ доктора Шольца и попытаемся представить, кого в этот критический момент хотел бы видеть около себя Пушкин.

Круг его друзей был чрезвычайно широк. Однако со многими из тех, кто ему был бы необходим в эти минуты, встретиться было невозможно: «Иных уж нет, а те – далече…»

Безвременно ушел Антон Дельвиг, и, оплакивая его, Александр Сергеевич писал Плетневу: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». В 1831 году, отмечая «святую годовщину» Лицея, Пушкин пророчески говорил:

…И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений…

В последние тяжкие часы жизни Пушкин вспоминал двух других верных друзей юности – Ивана Пущина и Ивана Малиновского – и сожалел, что их нет рядом: «Мне бы легче было умирать», – признался он.

Александр Сергеевич удовлетворенно воспринял известие о приходе Петра Александровича Плетнева. Плетнев был его неизменной опорой в литературных и издательских делах. Петр Александрович писал, что он был для Пушкина «и родственником, и другом, и издателем, и кассиром». Именно ему Александр Сергеевич посвятил «Евгения Онегина».

Пушкину захотелось проститься с Петром Андреевичем Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым – людьми

чрезвычайно близкими ему по литературным интересам, духу, образу мыслей. С ними на протяжении всей сознательной жизни его связывала прочная и глубокая дружба.

Но первая его мысль после вопроса Шольца, кого он хотел видеть, была о Жуковском.

Василий Андреевич относился к категории людей, не любить которых нельзя. Его отличало бескорыстие, самоотвержение, самоотречение. Кто-то очень верно назвал его самым добрым человеком в русской литературе. «Пленительной сладостью» обладали не только его стихи, но и обыкновенные слова, идущие из глубины его небесной, ангельской души, как говорили о нем его друзья. Один вид старого друга успокаивал Пушкина.

«…Я бы желал Жуковского», – записал его просьбу Шольц и без перехода снова вернулся к медицинским наблюдениям:

«Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении, вышел за питьем и чтобы послать за г-м Жуковским. Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон – и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку».

П. А. Вяземский. С портрета П. Соколова

В. И. Даль

А. И. Тургенев. С гравюры П. Виньерона

Главный вопрос, который возникает после знакомства с запиской Шольца: надо ли было информировать Пушкина о смертельной опасности ранения?

Вопрос этот не простой.

«…Умри я сегодня, что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как

прилично порядочному человеку…» – писал Александр Сергеевич жене летом 1834 года.

Проблема материального обеспечения семьи не давала покоя поэту. Тема эта периодически возникала в его переписке с Натальей Николаевной.

«…У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны».

Но до поединка с Дантесом он так ничего радикального и не придумал, хотя в конце 1836 года предпринял даже попытку отдать в уплату долга свое нижегородское имение.

Однако у него дома было сосредоточено колоссальное богатство – полный стол неопубликованных произведений, которыми надо было распорядиться.

Еще надо продиктовать долги, на которые нет ни векселей, ни заемных писем.

Еще – облегчить участь секунданта.

И еще возникал целый ряд неотложных дел, которых никому нельзя было перепоручить.

Но Шольц некатегоричен в своем прогнозе. Он советовал выслушать более авторитетные мнения.

Самым большим авторитетом среди врачей, приехавших к А. С. Пушкину, пользовался лейб-медик Н. Ф. Арендт, взявший на себя руководство лечением раненого.

8

Обнаружив записку Данзаса, Н. Ф. Арендт тут же сел в еще не успевшую отъехать от крыльца карету, запряженную парой в шорах, и поторопил кучера к дому Волконской на Мойке, где его с нетерпением ждали.

Скинув на руки камердинеру шубу, остался в своем форменном сюртуке с «Владимиром» на шее. Вынужденный по роду службы бывать при дворе, Николай Федорович постоянно носил эту форму – не самую удобную для общения с больными.

Кивком поздоровался со всеми и молча подошел к постели Пушкина.

Тревожные взоры были устремлены на знаменитого доктора, склонившегося над раненым поэтом.

Многоопытный хирург, оказывавший помощь раненым в 30 боевых сражениях, он сразу оценил безнадежность положения.

Привычная «маска» врача – добродушная улыбка – сползала с его круглого лица.

Пушкин, этот проницательнейший из людей, мог и не задавать вопроса. Но он спросил, что думает Николай Федорович о его ранении. И убеждал отвечать откровенно, так как любой ответ его не испугает. Ему необходимо знать правду, чтобы успеть сделать важные распоряжения.

А. Аммосов со слов К. К. Данзаса записал эту сцену:

«Если так, – ответил ему Арендт, – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды».

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

«Штука скверная, он умрет».

Однако прежде, чем уйти, Арендт сделал простейшие назначения больному: абсолютный покой, холод на живот и холодное питье, что тут же принялись исполнять, благо была зима и льда было предостаточно.

Возможно, тогда же, боясь усилить внутреннее кровотечение, он отменил зондирование раны.

Манипуляция эта заключалась в том, что хирург, не расширяя

входного отверстия пулевого канала, с помощью специальных пулеискателей (род пинцетов или зажимов различной величины и формы) пытался извлечь пулю, о расположении которой имел самое смутное представление. Как правило, он часами копался в ране, заражая ее и причиняя больному неимоверные страдания.

Из мемуарной литературы известно, что Задлер ушел за инструментами; однако никто не указывает, что они были пущены в ход. Если кто и мог запретить эту общепринятую в то время манипуляцию, то только такой авторитет, как Арендт. Полагаю, что так оно и было.

Н. Ф. Арендта как специалиста могут характеризовать следующие вехи его биографии.

Имя его, начертанное золотыми буквами, красовалось на самом верху мраморной доски лучших выпускников Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую он закончил в 1805 году.

В 1821 году Н. Ф. Арендту – первому из врачей в истории русской медицины – было присуждено почетное звание доктора медицины и хирургии без производства каких-либо экзаменов – «за усердную службу и совершенные познания медицинских наук, оказанные им при многократных труднейших операциях», как было записано в аттестации.

Статьей Н. Ф. Арендта об удачном случае перевязки сонной артерии (одном из первых не только в России, но и в Европе) в 1823 году открылся первый номер только начинавшего издаваться «Военно-медицинского журнала», сыгравшего впоследствии огромную роль в подготовке и консолидации национальных хирургических кадров.

Предки Н. Ф. Арендта переселились в Россию из Польши еще при Петре I. Медицинская специальность стала потомственной в обширном семействе Арендтов, и на протяжении почти двух веков многие достойные врачи носили эту фамилию. Уже в наше время оставил о себе добрую память известный нейрохирург, один из ближайших учеников академика Н. Н. Бурденко, профессор Андрей Андреевич Арендт. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял крупнейший нейрохирургический госпиталь, дислоцированный в Казани – городе, где жил первый лекарь в роду Арендтов – Федор Иванович; здесь же в 1785 году появился на свет Николай Федорович.

Николай Федорович Арендт начинал свою хирургическую карьеру в качестве полкового доктора. Участвуя в многочисленных сражениях, которые вела Россия в 1806–1814 годах, пройдя от Москвы до Парижа, он закончил войну в

должности главного хирурга русской армии во Франции.

Оставаясь несколько лет за рубежом, Арендт своим искусством хирурга и гуманным отношением к больным снискал уважение не только соотечественников, но и врачей Франции. Так, профессор Мальгень, президент Парижской медицинской академии, особенно прославившийся в диагностике и лечении переломов, через много лет вспоминал в медицинской печати успехи Арендта при лечении огнестрельных ранений конечностей. А руководитель медицинской службы французских армий профессор Перси, когда Арендт покидал Париж, отправил вслед ему такую записку: «…мы свидетельствуем, что он проделал много важных и опасных операций, из которых большинство были полностью удачными; к высокому уважению, которое вызывают его заслуги, многое привносят его личные и моральные добродетели, и мы считаем себя счастливыми выразить это доктору Арендту при возвращении к главным силам русской армии».

В Петербурге Николай Федорович быстро стал одним из самых популярных хирургов. Как указывает его биограф Я. Чистович, он буквально не вылезал из своей кареты, в которой разъезжал по вызовам. И когда однажды потребовалась квалифицированная помощь Николаю I, к нему пригласили Арендта. Император поправился, а 44-летний хирург получил должность лейб-медика. Было это в 1829 году.

На этой должности он продержался 10 лет и ушел с нее, еще продолжая активную медицинскую деятельность.

По мнению Н. И. Пирогова, Арендт в недостаточной степени обладал теми качествами, которые необходимы для успешной службы при дворе, чем резко отличался от его преемника профессора Мандта – карьериста и царедворца.

«Н. Ф. Арендт был человеком другого разбора», – сказал в своих «Записках» Н. И. Пирогов.

Кстати, когда умирал раненый Пушкин, Мандт уже набирал силу при дворе, и великая княгиня Елена Павловна через Жуковского предлагала его услуги: «…я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Мандтом, который столь же искусный врач, как оператор. Если решаться на Мандта, то ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направлю…» Мандта не пригласили, потому что полностью полагались на Арендта.

Звание Арендта – придворный медик – не должно нас смущать. Нельзя считать, что приставка «лейб» всегда была равноценна низким нравственным качествам врача. Один из примеров тому – лейб-медик последнего русского императора

профессор С. П. Федоров, имя которого в ряду выдающихся отечественных хирургов стоит рядом с Н. И. Пироговым.

Но продолжим воспоминания Пирогова об Арендте. Им приходилось часто встречаться зимой 1835–1836 года: Николай Иванович много оперировал в старейшей Обуховской больнице, а главным консультантом в ней был Н. Ф. Арендт, причем работал он здесь безвозмездно. Кстати, в 1845 году, когда Николай Федорович отошел от большой хирургии, его место в Обуховской больнице занял Пирогов.

«…Нелюбимый вздорным баронетом Вилье,[20] молодой Арендт прокладывал сам себе дорогу на военно-медицинском поприще, – писал Николай Иванович. – В молодости и средних летах он был предприимчивым и смелым хирургом, но искусство его еще не основанное на прочном анатомическом базисе, не выдерживало борьбы с временем…»

Дефекты своего образования понимал и сам лейб-медик, который, добившись для Пирогова царского разрешения на чтение курса хирургической анатомии для врачей Обуховской больницы, не пропустил ни одной его лекции и демонстрации операций на трупах, чем очень удивил и растрогал молодого профессора.

Чтобы быть до конца точными, отметим, что высказывания Пирогова об Арендте иногда противоречивы и непоследовательны. Ставя его на один уровень с такими всемирно известными хирургами, как Купер и Эбернети, он может в другом месте своих «Записок» назвать его «представителем врачебного легкомыслия» и заявить, что «ни разу не слыхал от Н. Ф. Арендта научно-дельного совета при постели больного».

Но «при постели больного» они встречались главным образом в Обуховской больнице в ту пору, о которой Н. И. Пирогов со свойственной ему самокритичностью позднее писал: «…я – как это всегда случается с молодыми хирургами – был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благоприятных исходов и счастливых результатов».

Возможно, тем врачом, который пытался его отговаривать от рискованных операций, и был Арендт. Ведь по действовавшим тогда правилам ни одна операция не могла быть выполнена без разрешения консультанта. Не исключается и другой вариант: упрек в легкомыслии мог быть вызван сожалением, что старший и более опытный коллега не останавливал его в безнадежных

случаях.

Но это все же детали. Для нас важно другое: что такой нелицеприятный судья, как Н. И. Пирогов, назвал Арендта в числе первых среди «дельных представителей медицины и хирургии» Петербурга 30-х годов.

В 1855 году медицинская общественность торжественно отметила 50-летие врачебной деятельности Николая Федоровича Арендта, которому было присвоено символическое звание «Благодушного врача».

Поскольку сегодня слово «благодушие» имеет некоторый иронический оттенок, откроем словарь Даля и обратимся к первоначальному смыслу: «доброта души, любовные свойства души, милосердие, расположение к общему благу, добру, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение».

В свете сказанного об Н. Ф. Арендте возникает естественный вопрос: как мог он, искусный и добрый доктор, оставить Пушкина без активной медицинской помощи (нельзя же всерьез относиться к лечению холодом), к тому же сообщить ему правду о безнадежности положения?

А. С. Пушкин. С гравюры Н. И. Уткина

Письменный стол в кабинете А. С. Пушкина

Именно такого рода обвинения были предъявлены Н. Ф. Арендту спустя много лет после гибели А. С. Пушкина. При этом невольно новейшие принципы ведения подобных больных были перенесены в пушкинские времена без учета уровня хирургической культуры прошлого.

Чтобы нам не впасть в такую же ошибку, вспомним несколько страниц из истории медицины.

Опустошительные войны начала XIX века выдвинули на первый план интересы военной хирургии и, в частности, вопросы лечения ран.

В отчетах ведущих хирургических клиник воюющих стран можно найти интересную информацию об исходах ампутаций конечностей, трепанаций черепа. И совершенно отсутствуют сведения о результатах лечения раненных в живот и грудную клетку, словно таких ранений не было вовсе.

В послевоенное время к этому перечню крупных операций добавились перевязки сосудов по поводу аневризм и исключительно редко – грыжесечения, которые давали огромную смертность.

«Грыжесечения принадлежат к труднейшим и опаснейшим операциям, – писал в своем руководстве по хирургии, вышедшем в 1835 году, профессор Х. Х. Саломон, – так как для ее производства требуется не только точное знание анатомии, но особенная опытность, спокойствие духа, осмотрительность, а иногда даже предприимчивость в действиях оператора».

Знаменитый профессор, несомненно, переоценивал значение индивидуальных способностей хирурга для исхода этого

вмешательства. В наши дни грыжесечение считается рядовой операцией, и ее успешно выполняют даже начинающие врачи. Между тем сам великий Н. И. Пирогов в 1852 году в числе 400 операций сделал лишь пять грыжесечений, из которых три закончились смертью больных от гнойных осложнений.

Я так часто обращаюсь к имени Н. И. Пирогова, потому что в истории отечественной хирургии он сыграл решающую роль. Своими трудами он дал небывалый толчок развитию русской медицинской мысли, а многие идеи, высказанные им на заре развития хирургии, не стареют и по сей день.

Так вот, по мнению Н. И. Пирогова, изложенному им в фундаментальном руководстве «Основы военно-полевой хирургии», не рекомендовалось раненному в живот вскрывать брюшную полость и даже вправлять обратно выпавший наружу сальник. Нарушение этого правила вели к развитию воспаления брюшины (перитониту) и смерти больного.

Еще долго после гибели Пушкина операции на органах брюшной и грудной полости будут находиться под запретом, и поэтому в книге М. Лахтина «Большие операции в истории хирургии», выпущенной в 1901 году, они совершенно не найдут отражения.

Операция на брюшной полости для предотвращения «худых приключений», как в те времена именовались осложнения, требуют соблюдения целого ряда условий.

Во-первых, эффективной борьбы с болью.

Но лишь через 10 лет после смерти А. С. Пушкина появился эфирный наркоз.

Во-вторых, борьбы с раневой инфекцией.

Но великому английскому хирургу Дж. Листеру, создавшему учение об антисептике, исполнилось лишь 10 лет, когда умирал наш Пушкин, а открывший пенициллин А. Флеминг еще не родился.

Чтобы успешно выполнить операцию, которая требовалась Пушкину, – удалить засевшую в крестцовой кости пулю, должно было пройти еще без малого шесть десятилетий. В 1895 году Рентгеном были обнаружены особые лучи, впоследствии названные его именем. В 900-е годы, благодаря работам Ландштейнера о группах крови, была разработана методика безопасного переливания крови, что значительно расширило возможности хирургического лечения раненых.

Однако, здесь не лишне будет заметить, что первый случай удачного переливания крови был осуществлен в Петербурге еще в пушкинские времена: 8 апреля 1832 года (в пятницу на Страстной

неделе, как было указано в отчете) младший городовой акушер Вольф, приглашенный на квартиру к бедной женщине, погибающей от послеродового кровотечения, в отчаянии решился прибегнуть к операции переливания крови и тем самым спас жизнь матери большого семейства, хотя, как выяснилось позже, совершенно случайно.

Событие это прочно вошло в историю отечественной медицины; но недавно доктору А. В. Шабунину удалось внести уточнение: автора первого удачного переливания крови звали Андрей Мартынович Вольф, а не Г. Вольф, как писали до сих пор. Буква «г» пристала к его фамилии как сокращение от «господин».

Но вернемся к нашей истории болезни.

Итак, многоопытный Н. Ф. Арендт отказался от мучительной и бесперспективной операции. Это его решение соответствовало золотому гиппократовскому правилу: «При лечении болезней надо всегда иметь в виду принести пользу или по крайней мере не навредить».

Скорее всего выжидательная тактика Н. Ф. Арендта и его пессимистический прогноз совпали с мнением профессоров Х. Х. Саломона и И. В. Буяльского, в тот же вечер осмотревших А. С. Пушкина и больше не привлекавшихся друзьями и родственниками к лечению. Из знаменитых российских хирургов не консультировал Александра Сергеевича только Н. И. Пирогов, находившийся в Дерпте, но и он вряд ли что-либо смог бы предложить.

Я только что привел одну из максим Гиппократа, которой придерживался Н. Ф. Арендт. Но есть еще и другое – не менее известное его правило, которое Арендт счел возможным нарушить:

«Окружи больного любовью и разумным утешением; но главное, оставь его в неведении того, что ему предстоит и особенно того, что ему угрожает».

Почему он не обнадежил смертельно раненного поэта?

Не будем возвращаться к возникшей перед Пушкиным необходимости выполнения целого ряда неотложных дел.

Главная причина, по-видимому, не в этом.

Арендт, судя по всему, отдавал себе отчет в том, что за пациента ему послала судьба.[21] И именно поэтому не посчитал себя вправе дать Пушкину ложные надежды на возможное исцеление.

Каждый человек живет, болеет, выздоравливает и уходит из жизни по-своему.

Выдающийся биолог Г. Мендель, установивший законы наследственности, тяжко заболев, потребовал от медиков ясного

ответа о состоянии своего здоровья. Узнав смертельный диагноз, резюмировал: «Естественная неизбежность».

Таких примеров – исторических и личных врачебных, когда люди воспринимают смерть как естественную неизбежность, можно привести великое множество.

Отношение к смерти в известной степени служит мерилом не только человеческого мужества, но и мудрости.

Александр Сергеевич в своей поэзии говорил о смерти спокойно и даже легко, без надлома:

…Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!..

Это спокойствие и просветленная грусть основывались не на вере в загробную жизнь. А. С. Пушкин не был религиозен. Еще в 1824 году в письме, перехваченном полицией и послужившем поводом к его михайловской ссылке, он признавался, что разуверился в существовании бога и бессмертии души: «Читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur,[22] мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная».

Библейские мотивы в творчестве Пушкина не более чем традиционные сюжеты, которые он гениально поворачивал в нужном ему направлении. Не зря в незавершенной статье о русской литературе он вспомнил о религии как о «вечном источнике поэзии у всех народов».

Выполнение им христианского обряда перед смертью, как это убедительно показано многими пушкинистами, было вынужденным, производилось по требованию царя, переданному через Н. Ф. Арендта: этим он обеспечивал благополучие семьи.

Философское отношение Александра Сергеевича к смерти является результатом глубокого убеждения, что нить жизни с его исчезновением не оборвется, а будет продолжена «младым, незнакомым» племенем, появление которого он приветствовал. Мысль о смерти неотделима у Пушкина от сознания вечного движения жизни, закономерности смены поколений:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Эти думы о смерти, не покидающие его, не отравляли сердце горечью. «… Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы, – писал он П. А. Плетневу в июле 1831

года. – Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчики станут повесничать, а девочки сентиментальничать… были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…»

А. С. Пушкина нельзя безоговорочно отнести ни к пессимистам, ни к оптимистам. «Он верил только в правду бытия, – заметил однажды известный советский критик Лев Озеров. – Он шел не от категории чувств, а непосредственно от них самих»…

Однако следует ли нам сегодня осуждать врачей, не скрывших правду от раненого поэта?

Я полагаю, что нет.

Незаурядность личности Пушкина не позволила им прибегнуть к утешительной лжи.

В неоконченной «Повести из римской жизни» Александр Сергеевич вложил в уста Петрония такие вещие слова: «…мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти».

Этой откровенностью врачи невольно дали возможность проявиться стойкости пушкинского духа и на последнем этапе его нелегкого жизненного пути. Вся история болезни Пушкина представляет собой протокол мужества.

Дуэль А. С. Пушкина с Дантесом. С картины А. Наумова

К. К. Данзас

9

Пушкин обдумывал план действий на несколько часов вперед – на большее теперь нельзя было загадывать.

Первой его заботой была жена: ее надо было подготовить к неизбежному исходу, а не объявлять сразу, как получилось с ним, – она такого не вынесет. Еще надо снять с нее груз ответственности за происшедшее, иначе будет казнить себя до конца дней.

Книги со всех сторон обступали его. Он смотрел на их разноцветные корешки и думал.

Через 100 лет некоторые хирурги упрекнут врачей и домочадцев Пушкина в том, что в большой квартире не нашли для него другого места, кроме кабинета, резонно полагая, что «пыль веков» не благоприятствует заживлению раны.

Александр Сергеевич мог бы ответить им, как сказал в статье о Вольтере: «…настоящее место писателя есть его ученый кабинет…»

Книги сейчас действовали на него лучше любого успокоительного. Их человеческие души, стиснутые плотной кожей обложек, тут же оживали, лишь стоило взять их в руки.

Н. Ф. Арендта сменил доктор И. Т. Спасский. Александр Сергеевич обрадовался ему. Спасский на протяжении последних нескольких лет был его домашним врачом. Они были почти ровесники (доктор всего на три года старше). Происходил Спасский из купцов, но от образа жизни своих предков сохранил только хлебосольный дом. Случалось, Пушкин бывал у него в гостях без какого-либо медицинского повода.

– Что, плохо? – спросил Александр Сергеевич, подавая руку. Ладонь у него была непривычно вялая, расслабленная.

Иван Тимофеевич попытался возразить, что известны случаи, когда больные поправляются, и хотел привести пример, но Пушкин не дал ему договорить, махнул рукой, показывая, что трезво оценивает свое положение.

– Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело: она не притворщица, вы ее хорошо знаете…

В этой его просьбе не было противоречия с тем, о чем он только что просил Арендта. Просто он понимал, что Спасский с его чуткостью и знанием особенностей характера Натальи Николаевны сумеет смягчить удар, сделает это лучше, чем кто-нибудь другой.

В воспоминаниях Данзаса о последних днях поэта есть замечание, что Пушкин не питал доверия к Спасскому. Данзас это ничем не мотивирует. С другой стороны, можно привести целый ряд высказываний самого А. С. Пушкина, из которых следует, что и он и Наталья Николаевна глубоко уважали своего домашнего доктора и внимательно прислушивались к его советам. В одном из писем Александр Сергеевич пригрозил жене, что, если она не будет оберегать себя, он пожалуется Спасскому, у которого должен обедать. В другом письме его интересовало мнение Спасского о болезни дочери. Он переслал жене инструкцию Спасского и советовал «поступать по оной» и т. д.

Из переписки Екатерины Николаевны Гончаровой с братом Дмитрием мы узнаем, что осенью 1835 года она серьезно болела и поправилась только благодаря стараниям доктора Спасского. Екатерина Николаевна сообщает, что Иван Тимофеевич несколько раз лечил также сестру Александру и всю прислугу Пушкиных – и, что очень существенно в ее информации, всех лечил бесплатно.

«Я чувствую, что я ему очень обязана, и однако не знаю, как отблагодарить его за свое лечение», – пишет Екатерина Николаевна.

Такая возможность видится ей в том, чтобы, исполнив просьбу Спасского о приобретении ему за 500 рублей двух лошадей на Яропольском конезаводе («чтобы ходили во всякую упряжь, не моложе 5 лет и не старше 7»), денег с него не брать. Об этом она и просит брата.

Но Иван Тимофеевич, скорее всего, сам оплатил покупку, поскольку весной следующего года Наталья Николаевна напоминала Дмитрию, что Спасский ждет с нетерпением своих лошадей.

В семействе Пушкина Иван Тимофеевич исполнял функции и детского врача, и гинеколога, и терапевта. И как это ни горько, ему же досталось вскрывать тело Пушкина. Хотя протокол о вскрытии оформлен Далем, надо полагать, что производил исследование Спасский, который был дипломированным судебно-медицинским экспертом, длительное время преподавал эту специальность в училище правоведения и даже написал книгу о судебной медицине, выдержавшую несколько изданий.

Если же перечислять все специальности доктора Спасского, то надо еще назвать зоологию и ее раздел – энтомологию,[23] имеющую прямое отношение к медицине, фармакологию, минералогию (применительно к лекарственным минералам). И в каждой из этих специальностей он не был дилетантом, а оставил существенный след в виде научных исследований, лекционных курсов, монографий, руководств. Кстати, Спасским было

переведено с английского «Краткое наставление для руководства при подаче первой помощи мнимо умершим», ставшее одним из первых в России учебных пособий по реанимации. Он изучал действие опия на организм, писал работы об оспопрививании, занимался диетотерапией. Сегодня ни одна серьезная статья о лечении голоданием не обходится без ссылки на работу Спасского «Успешное действие голода на перемежающиеся лихорадки».

Широта научного кругозора и энциклопедическая образованность Спасского проявились в целой серии популярных статей, опубликованных в «Лексиконе» Плюшара. Об «ученых предметах» он говорил просто, доходчиво, «человеческим языком», как требовал этого от популяризаторов науки А. С. Пушкин.

Спасского высоко ценил Н. И. Пирогов, и не только на словах: когда Николай Иванович серьезно заболел, он выбрал себе в лечащие врачи Спасского.

Отправив Спасского к жене, Александр Сергеевич пригласил Данзаса и продиктовал ему неучтенные долги, еще четкой подписью скрепил документ.

Вскоре из дворца, не застав императора, возвратился Н. Ф. Арендт. Осмотрел А. С. Пушкина и, убедившись, что симптомы внутреннего кровотечения не нарастают, не стал менять назначения.

Александр Сергеевич снова обратился к лейб-медику с просьбой заступиться перед царем за его секунданта:

– Просите за Данзаса. – И повторил спустя некоторое время: – За Данзаса, он мне брат.

Узнав о дуэли, в дом на Мойке стали съезжаться встревоженные друзья поэта: В. А. Жуковский, супруги Вяземские, А. И. Тургенев, М. Ю. Виельгорский.

– Что делает жена? – спросил Александр Сергеевич.

Ему нестерпимо было наблюдать страдания Натальи Николаевны, которая, словно в сомнамбулическом сне, бродила по квартире. Он просил не пускать ее к нему. Но когда ей удавалось проникнуть в кабинет, Александр Сергеевич неизменно пытался внушить жене, что она ни в чем не виновата.

– Она несколько поспокойнее, – ответил Спасский, поручивший Наталью Николаевну Вере Федоровне Вяземской и Екатерине Ивановне Загряжской.

– Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, – вздохнул Пушкин.

Александр Сергеевич, по словам П. А. Вяземского, завещал своим друзьям оградить Наталью Николаевну от клеветы и

наговоров.

Умирающий человек, как правило, замыкается в себе, абстрагируется от окружающей его действительности и тем самым уходит от людей раньше, чем перестает биться сердце.

Пушкин умирал иначе.

Он вдруг вспомнил о несчастье, постигшем писателя, журналиста и издателя Н. И. Греча: только что скончался его 18-летний сын Коля, которого Александр Сергеевич хорошо знал.

– Если увидите Греча, кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере, – попросил он Спасского, регулярно встречавшегося с Николаем Ивановичем Гречем на собраниях издателей «Энциклопедического лексикона».

Он категорически запретил Данзасу мстить за него, отчетливо сознавая, что совершить человеческий суд над Дантесом не сложно. Имя Дантеса, как и имена тех, кто направлял его руку, самой его смертью заклеймены в веках. Он словно читал уже строки, которые напишет 23-летний М. Ю. Лермонтов:

> И вы не смоете всей вашей черной кровью
> Поэта праведную кровь!

Кабинет А. С. Пушкина

Раненого по-прежнему волновали два вопроса: судьба секунданта и будущее семьи.

На исходе 27 января снова приехал Арендт и привез добрые вести из дворца. Обещая позаботиться о жене и детях, царь советовал «кончать жизнь христиански».

Принимая условия игры, Пушкин облегченно вздохнул.

«Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время», – записал доктор Спасский, подводя итоги первому дню.

Однако болезнь делала свое дело: боли усиливались.

– Зачем эти мучения? – недоуменно спросил Пушкин. – Без них я бы умер спокойно.

10

– Смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил! – невнятным голосом произнес Александр Сергеевич, едва превозмогая все нарастающую боль.

Пушкин, возможно, вспомнил, что 11 2 лет назад, день в день и час в час, в страшных мучениях кончалась жизнь Петра I, и ужаснулся совпадению.

Все последнее время его было заполнено «Историей Петра». Ему не хватило малого: года, даже, может быть, полугода, чтобы закончить этот труд.

Сцена смерти некогда могущественного, а в этот момент – абсолютно бессильного и беспомощного царя стояла у него перед глазами:

«Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал, испуская мочу…

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок, она не отходила от постели Петра и не шла спать, как только по его приказанию…

15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку, левая была уже в параличе. Увещевающий от него не отходил. Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до четвертого часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось – в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины».

Было 3 часа ночи 28 января 1837 года.

Александр Сергеевич тихо подозвал дежурившего в кабинете слугу и велел подать один из ящиков письменного стола. Слуга исполнил его волю, но, вспомнив, что там лежали пистолеты, разбудил Данзаса, дремавшего у окна в вольтеровском кресле.

Данзас решительно отобрал оружие, которое Пушкин уже успел спрятать под одеялом.

Около четырех часов пополуночи боль в животе усилилась до такой степени, что терпеть уже было невмоготу. Послали за Арендтом.

Прервем дальнейшее изложение истории болезни, чтобы попытаться понять, почему И. Т. Спасский, не отлучавшийся от Пушкина, не назначил ему болеутоляющее средство. Ведь доктор Спасский, как мы уже знаем, был видным фармакологом и автором серьезной работы о действии опия на организм, в которой он сам же говорил, что интенсивная боль – первое показание к применению этого лекарства.

Ответить на этот вопрос трудно. Я думаю, что дело здесь не только в каких-то относительных противопоказаниях, которыми, как полагает Ш. И. Удерман, можно объяснить нерешительность Спасского, а в обычной человеческой растерянности при виде мучений близкого человека.

Недаром многовековой опыт медицины не рекомендует врачам браться за самостоятельное лечение родственников и друзей.

А о том, что Александр Сергеевич был Спасскому дорог до чрезвычайности, свидетельствует тот факт, что в первые дни после этих событий он потерял способность воспринимать жалобы пациентов, не понимая, как они могут говорить о своих болезнях, когда умер Пушкин.

Арендт приехал вскоре. Он снова обследовал Пушкина и, выявив картину начинающегося перитонита, назначил, как полагалось в таких случаях, «промывательное», а для утоления боли – опий.

Это была мучительная процедура для человека, имеющего значительные повреждения костей таза, которых врачи и не предполагали.

«…Боль в животе возросла до высочайшей степени, – записал И. Т. Спасский. – Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. (Пригодное для учебников описание картины болевого шока. – Б. Ш.) Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать…»

Между тем опий, назначенный Н. Ф. Арендтом, начинал уже оказывать действие, и больной постепенно успокоился.

Понимая, что второго такого приступа он не переживет, Александр Сергеевич потребовал к себе жену и детей. Он спешил, как выразился Жуковский, «сделать свой последний земной расчет».

Малыши еще спали, и их в одеялах, повинуясь его воле, приносили к нему полусонных. Он молча благословлял детей и движением руки отсылал от себя.

Затем Пушкин пожелал проститься с друзьями.

«Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее, – вспоминал Жуковский в своем знаменитом письме к отцу поэта. – Сказать ему я ничего не мог, он махнул рукой, я отошел…»

Так же Александр Сергеевич простился с Вяземским и Виельгорским.

Пушкин захотел видеть своего верного друга Е. А. Карамзину – вдову историографа. Екатерина Андреевна была умна, добросердечна и участлива, и он нередко обращался к ней в трудные моменты своей жизни.

Но жизнь, собственно, уже утекала, и оставалось только проститься.

Вот как Екатерина Андреевна в письме, обнаруженном в 1955 году среди других сокровищ известной «Тагильской находки», рассказывает сыну об этом последнем свидании с поэтом:

«…Пишу тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арндт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: **перекрестите** еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке, он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице…»

Спасский взял больного за руку и проверил пульс. Следом за доктором это же сделал сам Пушкин.

– Смерть идет, – сказал он, выразительно глядя на Спасского.

Город еще только просыпался, а молва, что умирает раненый Поэт, уже стремительно распространялась по Петербургу.

11

После тяжелой бессонной ночи доктора И. Т. Спасского сменил другой врач – Ефим Иванович Андреевский, который, к сожалению, не оставил никаких записок о своем дежурстве. В мемуарной литературе также отсутствуют сведения о роли и участии доктора Андреевского в ведении больного. Известно только, что некоторое время он был при постели А. С. Пушкина и именно он закрыл глаза умершего.

Уже одно это дает основание поинтересоваться личностью Андреевского и выяснить, почему он попал в число врачей, оказывающих помощь раненому поэту.

В самом деле, о лейб-медике Н. Ф. Арендте мы знаем, что его пригласил Данзас как одного из самых видных петербургских хирургов; И. Т. Спасский был домашним врачом Пушкиных; В. И. Даль, который появился несколько позже, сам изъявил желание остаться около Александра Сергеевича по праву дружбы. А доктор Андреевский?

Самые полные сведения о нем собраны Ш. И. Удерманом.

Е. И. Андреевский был на 10 лет старше А. С. Пушкина. Происходил он из семьи священника и начинал учиться в духовной семинарии. По заведенному еще в середине XVIII века правилу – для увеличения среди врачей лиц русской национальности – желающих получить медицинское образование нередко набирали из семинаристов. В это число попал и Андреевский. Перед самой Отечественной войной 1812 года он закончил Петербургскую медико-хирургическую академию и в качестве хирурга вместе с Литовским полком прошел через все сражения с Наполеоном.

Это был опытный врач-практик. Высокая квалификация Андреевского подтверждается несколькими публикациями в медицинской печати, представляющими по сути дела поучительные примеры историй болезни больных, которых он лечил или консультировал.

Кстати, одна из его публикаций касается лечения перитонита. В этой работе Андреевский обнаруживает солидные знания предмета, описывая не только клинические проявления болезни, но и изменения, происходящие в органах. В этой же статье приводится случай успешной операции, произведенной Н. Ф. Арендтом по поводу обширного гнойника в брюшной полости. Диагноз перитонита был установлен Е. И. Андреевским. Он же выбрал хирурга. Операция производилась на квартире больного в присутствии именитых врачей, фамилии которых в качестве

авторитетных свидетелей непременно приводились в истории болезни. Сегодняшних специалистов вряд ли заинтересуют приемы, с помощью которых Арендт мастерски вскрыл гнойник, избежав заражений всей брюшной полости. А вот обстановка операции была весьма необычна для нашего восприятия: больного на кровати, чтобы было виднее, придвинули к окну. Хирург опустился на колени и в такой позе сделал разрез. Вся операция продолжалась 7 минут, так как каждая дополнительная минута углубляла болевой шок.

Вероятнее всего, Ефима Ивановича Андреевского позвали к Пушкину как крупного специалиста по перитонитам. И он, я полагаю, сразу установил выделенную им в статье быстротечную форму воспаления брюшины, которая неизменно заканчивалась смертью в течение 2–3 дней.

Инициатива приглашения Андреевского должна была принадлежать доктору Спасскому: они были близко знакомы и часто встречались на заседаниях правления Петербургского общества русских врачей.

Организация эта имела цель ликвидировать разобщенность врачей. (Ранее у петербургских врачей не было своей корпорации, и некоторое подобие ее, по свидетельству заезжего иностранца, представляли еженедельные приемы, которые устраивал для своих коллег Н. Ф. Арендт.)

Спасский и Андреевский входили в число десяти ее учредителей. Спустя несколько десятилетий общество стало значительной силой, признанной во всем медицинском мире. Его членами в разное время были Н. И. Пирогов, Н. Ф. Арендт, И. Ф. Буш, С. Ф. Гаевский и другие знаменитые петербургские врачи.

Первым президентом общества, организованного в 1833 году, единогласно был избран Ефим Иванович Андреевский – как «человек умный, скромный, прямодушный, пользовавшийся общей любовью и уважением». Он оставался на этом почетном посту до самой своей смерти, наступившей неожиданно в 1840 году.

Через поколение эстафету руководителя общества принял выдающийся русский терапевт профессор С. П. Боткин, которого на одном из торжественных заседаний приветствовал сын покойного первого президента Иван Ефимович Андреевский, видный юрист и в ту пору ректор Петербургского университета.

12

Известие о ранении Пушкина пришло к В. И. Далю только в четверг во втором часу дня.

«У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале; страх ожидания пробегал по бледным лицам, – вспоминал Владимир Иванович. – Д-р Арендт и д-р Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: „Плохо, брат!“ Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне ты – я отвечал ему так же и побратался с ним уже не для здешнего мира».

Каждая фраза в этом отрывке для нас важна и ценна.

Обилие людей, искренне взволнованных судьбой Пушкина, свидетельствовало об огромной популярности поэта, масштабы которой не предполагали даже его друзья.

С каждым часом людской поток прибывал. Особенно много было молодежи, студентов. Публика буквально штурмовала квартиру, и Данзас, чтобы обеспечить мало-мальский порядок, попросил прислать из Преображенского полка наряд часовых.

Обыватель не понимал причины паломничества к умирающему поэту и удивлялся. Проходивший мимо по набережной Мойки какой-то старик выразил это такими словами:

– Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!

Недалеко ушел от обывателя небезызвестный министр просвещения и президент Академии наук С. С. Уваров. Чуть позже он выговаривал редактору «Литературного прибавления» А. А. Краевскому за опубликованный там некролог:

«Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?… „Солнце поэзии“! Помилуйте, за что такая честь? „Пушкин скончался… в середине своего великого поприща“! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!..» Холодный ветер, врывавшийся с Дворцовой площади на Мойку, заметал в лицо снег, прогонял с улицы. Но люди не расходились, ожидая вестей о здоровье Пушкина. На выходивших из его квартиры со всех сторон сыпались вопросы.

Желая изолировать раненого от шума, друзья забаррикадировали дверь в переднюю из прихожей, и проникнуть в комнату, смежную с кабинетом, теперь можно было только в

обход – через маленькую буфетную и столовую.

В вестибюле вывесили написанный Жуковским бюллетень:

«Первая половина ночи беспокойна; последняя лучше. Новых угрожающих признаков нет; но так же нет, и еще и быть не может облегчения».

В последней фразе теплилась какая-то надежда на выздоровление. Появилась она утром, когда стихла боль. Даль, надо полагать, спросил у врачей их мнение, и они уже не были гак категоричны, как сразу после дуэли.

Личное знакомство В. И. Даля с Пушкиным состоялось еще в 1832 году, и возникло оно на литературной почве. В тот раз Даль, впервые выступивший в роли сказочника Казака Луганского, искал поддержку у великого писателя. Сейчас в поддержке нуждался сам Пушкин. И доктор Даль сказал: – Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!

Я вынужден опять сделать отступление от истории болезни Пушкина, чтобы рассказать о враче, который провел у его постели последние сутки.

Имя Даля в нашей памяти ассоциируется с образом мудрого седовласого старца с аскетическим лицом, густой бородой, закрывающей половину груди. Он спокойно сидит в кресле со сложенными на коленях руками – отдыхает после трудов праведных, вспахав необозримое поле русского языка. Именно таким его изобразил художник В. Г. Перов. Но это было уже на исходе дней.

Есть еще несколько других, не канонизированных портретов Даля. Молодое красивое, несмотря на крупный нос, лицо. Волнистые светлые волосы. Пытливый и ироничный взгляд.

В молодости ему нравилось смешить публику комичными историями, которые он живо изображал в лицах, имитируя голос, жестикуляцию, мимику. Он любил музыку и сам отлично играл на губной гармошке. По общему признанию, Даля отличали доброта, приветливость, общительность. Эти свойства характера притягивали к нему людей.

Жизнь Даля настолько разнообразна и замечательна, что ее с лихвой могло бы хватить на несколько интересных биографий: морской офицер, врач, ответственный чиновник, этнограф, натуралист, писатель, ученый-языковед.

Такие крутые перемены направлений деятельности для иного человека могли бы оказаться губительными, тогда как Далю это шло только на пользу: расширялся круг его контактов с людьми различных социальных уровней, разностороннее становились его

знания, богаче жизненный опыт. Все это затем отлилось в 200 000 слов «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором нашло отражение не только материальное, но и духовное разнообразие русской жизни.

Склонность к лингвистике и врачеванию у Владимира Ивановича была, если можно так выразиться, генетическая: его отец, работая библиотекарем при дворе Екатерины II, вдруг оставил эту спокойную и хлебную должность, чтобы, получив медицинское образование, стать врачом.

Я не могу согласиться с Ш. И. Удерманом, что врачебная деятельность Даля стоит особняком и не имеет органической связи с другими сторонами его жизни.

Медицинская специальность – одна из самых насыщенных людскими контактами, и, несомненно, немалое количество слов, пословиц и поговорок Владимир Иванович «подслушал» у своих пациентов. Кроме того, медицина и близкие к ней биология и естествознание получили широкое отражение на страницах словаря, без чего он утратил бы свою энциклопедическую полноту.

Не в юном возрасте – двадцати пяти лет от роду, уже пройдя курс обучения в Морском корпусе и дослужившись до чина лейтенанта, поступил Владимир Иванович на медицинский факультет Дерптского университета. У Мойера он познакомился с Н. И. Пироговым, который оставил о Дале такие воспоминания:

«Это был замечательный человек… За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить… Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими способностями, необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну…»

Николай Иванович имел в виду начавшуюся в 1828 году войну с Турцией, на которую Даль был призван в качестве военного врача. В связи с мобилизацией ему пришлось досрочно завершить курс обучения. Однако он успел еще защитить диссертацию на звание доктора медицины и хирургии. Есть свидетельства, что Н. И. Пирогов знакомился с его диссертационной работой, посвященной случаю успешной трепанации черепа и наблюдению над больным с неизлечимым заболеванием почек.

Вернувшись с фронта и поселившись в Петербурге, Даль быстро выдвинулся как искусный глазной хирург.

«Осмелюсь заметить, что глазные болезни, и особенно операции, всегда были любимою и избранною частию моею в области врачебного искусства, – вспоминал Владимир Иванович. – Я сделал уже более 30 операций катаракты, посещал

глазные больницы в обеих столицах и вообще видел и обращался с глазными болезнями немало…»

Особенно, как мы уже слышали, преуспел он в деликатных операциях удаления катаракты (катаракта, читаем в словаре, – «слепота от потускнения глазного хрусталика; туск, помрачение прозрачной роговой оболочки»). Я думаю, что сохранившаяся у него на долгие годы даже после ухода из медицины приверженность этим операциям обусловлена не только профессиональным интересом: прозрение ослепшего человека неизменно походило на волшебство.

Большой интерес представляет исследование Даля «О народных врачебных средствах», в котором ученый, преклоняющийся перед языкотворной способностью масс, весьма скептически оценивал народные методы лечения, предупреждая врачей, что следует тщательно «отделять невежественное, суеверное, вредное от полезного». Особенно резко он выступал против лечения глазных болезней, поскольку не одна пара «годных глаз» была загублена втиранием таких неимоверных «средств», как купорос и даже толченое стекло.

Отойдя от врачевания и занимая важные административные посты в Оренбурге, Петербурге и Новгороде, В. И. Даль много сделал для улучшения работы больниц, нужды которых он знал не понаслышке. Однако и в это время, выезжая по делам службы в губернию, Владимир Иванович брал с собой хирургические инструменты, которые, случалось, пускал в дело. Доподлинно известно, что в Оренбурге он с успехом выполнил ампутацию руки больному с большой и болезненной опухолью.

В «правильной» медицинской биографии Даля был один не совсем понятный, на мой взгляд, эпизод, связанный с его выступлением в защиту гомеопатии (известное письмо князю В. Ф. Одоевскому, опубликованное в «Современнике» за 1838 год).

Но если вспомнить, что в эти годы процветало учение доктора Ф. Бруссе, предлагавшего любые болезни лечить кровопусканиями (ходила даже шутка, что последователи Бруссе пролили крови больше, чем Наполеон во всех своих войнах[24]), то на этом фоне рекомендации Ганеманна применять эфемерные дозы лекарственных препаратов были злом, несомненно, меньшим.

Владимир Иванович совершенно справедливо утверждал, что безобидная арника при ушибе действует лучше, чем пиявки. А вот что он писал о лечении пневмонии: «…вместо кровопускания, на чем настоял бы всякий благоразумный аллопатический врач,

больной (речь идет о конкретном человеке, которого наблюдал Даль. – Б. Ш.) получил в течение нескольких часов три или четыре приема aconiti; первый прием доставил через полчаса значительное облегчение, а через двое суток не осталось и следа болезни; больной, Башкир, сидел уже на коне и пел песни».

И хотя вызывает улыбку чудодейственный эффект аконита при «довольно значительном воспалении легких», как Даль определил болезнь у своего пациента, но и при обычном бронхите кровопускание, несомненно, только ослабило бы организм больного.

К сожалению, в своих действиях у постели раненого поэта Даль оказался непоследовательным.

По общепринятым тогда правилам и в соответствии с рекомендацией Арендта он поставил А. С. Пушкину далеко не гомеопатическую дозу пиявок – 25 штук, которые высосали у обескровленного больного по самым скромным подсчетам дополнительно еще 250 мл крови. (Несколько утешиться можно, узнав, что Бруссе в таких случаях советовал приставлять к животу от 60 до 100 пиявок и что врачи сочли возможным обойтись без общего кровопускания.)

Интересна история отношений Даля с Пушкиным.

Жизнь Владимира Ивановича была насыщена встречами и тесным общением со многими выдающимися людьми. Если перечислять все фамилии, то может сложиться впечатление, что он коллекционировал не только слова: Пирогов, Иноземцев, Языков, Жуковский и другие обитатели дома профессора Мойера в Дерпте.

С будущим героем Севастополя адмиралом Нахимовым в годы учебы в Морском корпусе он ходил на бриге «Феникс» к берегам Дании, откуда приехал в Россию его отец. Именно тогда у него родилось убеждение, что «ни призвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью к той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски», – писал Даль.

Несомненно, самыми памятными в жизни Даля были несколько встреч с Пушкиным.

Еще при их первом свидании Александр Сергеевич укрепил Даля в его намерении работать над словарем живого великорусского языка. Вот как сам Владимир Иванович

вспоминал об этой встрече, когда он принес поэту свои сказки: «…Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится, только что с языка не срывается. „Сказка сказкой, – говорил он, – а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?… Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке… А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!“

Второй раз они встретились спустя год, ранней осенью 1833 года, и уже не в столице, а в Оренбурге, куда Пушкин, «нежданный и нечаянный», приехал собирать материалы для «Истории Пугачевского бунта».

Даль уже несколько месяцев служил чиновником по особым поручениям при оренбургском военном губернаторе В. А. Перовском и успел настолько освоиться с прошлым Яицкого края, что лучшего сопровождающего Пушкину нечего было и желать.

Они ездили в историческую Бердскую слободу, где была ставка Пугачева и его знаменитые «золотые палаты» – деревенская изба, стены которой были оклеены тонкой золотистой бумагой.

В Бердах нашли старуху-казачку, которая помнила Пугачева. Пушкин слушал ее «с большим жаром», как определил Даль, и от души хохотал над забавными деталями, всплывавшими в памяти рассказчицы.

Она вместе с другими пряталась в церкви, когда туда пришел Пугачев, выдававший себя за императора Петра III. Старуха рассказала, что Пугачев сел на церковный престол, перепутав его с царским троном, и громко сказал:

– Как я давно не сидел на престоле!

Пушкин отблагодарил казачку червонцем. Однако этот подарок произвел переполох среди станичников, заподозривших неладное. Старуху вместе с ее червонцем посадили на подводу и привезли в Оренбург. Казаки доносили: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой не велик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под „пугачевщину“ и дарил золотом; должно быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти».

Пушкин, как заметил Даль, «много тому смеялся».

Они провели вместе несколько незабываемых дней. Допоздна беседовали. Пушкин делился с Далем планами. В это время он уже целиком был захвачен замыслом «учено-художественной» (по

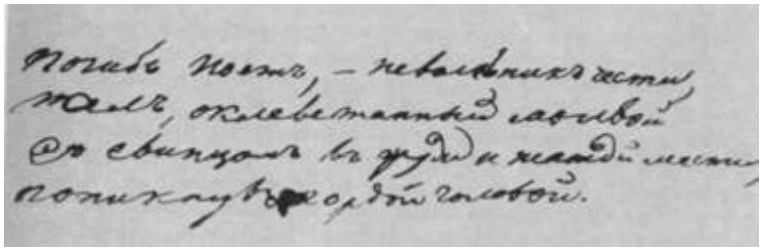
определению В. Г. Белинского) истории Петра Великого, о чем говорил буквально воспламенившись.

На вопрос Даля, когда будет готова книга, Александр Сергеевич ответил, что не надо торопиться, надо освоиться с предметом и постоянно им заниматься.

Владимиру Ивановичу показалось, что он проник тогда в мастерскую творчества великого Поэта: «Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно дозревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово».[25]

Разносторонний, умелый, деликатный, склонный к юмору, Даль не мог не полюбиться Пушкину, и вскоре Владимир Иванович получил первый привет – рукопись «Сказки о рыбаке и рыбке» с дарственной надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин».

Дом на Мойке. Последняя квартира А. С. Пушкина. Современная фотография



Автограф начальных строк стихотворени М Ю Лермонтова «Смерть поэта»

Даль провожал Пушкина до Уральска, откуда заполыхало пламя крестьянской войны. Заезжали в крепости, стоявшие на пути пугачевского войска. Одну из таких крепостей Александр Сергеевич описал в «Капитанской дочке»: «…Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. Где же крепость? – спросил я с удивлением. – „Да вот она“, – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою…»

Замечательную повесть эту, так остро напоминавшую об их кратком путешествии, Даль прочитал в последнем номере «Современника» за 1836 год и, собираясь по делам службы в Петербург, предвкушал радость свидания с поэтом.

13

Ясно сознавая, что жизнь кончается, Пушкин торопил смерть; – Долго ли мне так мучиться? – и просил, словно это зависело от Даля; – Пожалуйста, поскорее…

Из-за одышки и слабости говорить было трудно, и он произносил слова отрывисто, с расстановкой.

Находясь на смертном одре, он мог только позавидовать кончине своего собрата по перу А. С. Грибоедова, гроб с телом которого встретил на пути в Арзрум: «…Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна…»

Владимир Иванович глядел на его заострившиеся, как обычно бывает при перитоните, черты лица и пытался успокаивать. – Нет, мне здесь не житье, – отвергая всяческие утешения, отвечал Пушкин. – Я умру, да, видно, уж так надо… Он уходил из жизни без пышных фраз, обращенных к потомкам. Все, что хотелось сказать, он сказал в своих произведениях… Впрочем, все ли? Он уносил с собой великую тайну… Главной задачей было уйти достойно, не пугая жену, не обременяя друзей.

Он ни на что не жаловался, никого не упрекал и благодарил за любой пустяк – подадут ли воду, поправят ли постель, повернут ли его на бок, – показывая, что всем доволен.

– Вот и хорошо… и прекрасно… – постоянно приговаривал он.

И от этих его слов у присутствующих наворачивались слезы.

Арендт, который наблюдал много смертей на своем веку, отошел от его постели и, вытирая глаза, заметил, что никогда не видел такого терпения.

До конца дней своих запомнился Далю мучительный оскал зубов, обнажаемых раненым в непрерывных страданиях. Даже в кратковременном забытьи губы его судорожно подергивались.

– Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче, – уговаривал его Даль.

– Нет, не надо, жена услышит, – возражал Пушкин.

Один из ближайших друзей поэта, П. А. Плетнев, не отходивший все эти дни от раненого, заметил: «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим».

Он тер себе виски кусочками льда, которые сам доставал из стакана с водой, и это на мгновение отвлекало его.

Александра Сергеевича, по свидетельству очевидцев, продолжало интересовать, что происходит в доме.

– Много людей принимают в тебе участие, – сообщил ему Даль, – зала и передняя полны.

Раненый явно растрогался.

– Ну, спасибо… – И попросил ободрить Наталью Николаевну: – Скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят…

Больному «припустили» на живот 25 пиявок, о чем я уже говорил. По мнению Даля, эта процедура оказала благотворное влияние: пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче.

«…Я ухватился, как утопленник за соломинку, – вспоминал Владимир Иванович, – и, обманув и себя и друзей, робким голосом возгласил надежду. Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: „Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?“ – „Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!“ Он пожал мне руку. Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою; ни прежде, ни после этого он ей не верил…»

Затем боль оставила раненого, и на смену ей пришла чрезмерная тоска. Но это было не легче.

– Ах, какая тоска! – восклицал Пушкин. – Сердце изнывает…

Смертельная тоска – этот эквивалент боли – заполняла все его существо. Он задыхался в ней и, пытаясь избавиться, просил Даля приподнять его, поправить подушки, сменить положение.

Однажды в полубреду, сжимая руку Даля, он позвал его куда-то:

– Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше, – ну, пойдем!

Тут же очнувшись, с ясным сознанием и даже с усмешкой анализировал:

– Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу по этим книгам и полкам высоко – и голова закружилась…

Долгую, томительную ночь провел Владимир Иванович возле постели умирающего поэта, повторяя мысленно одни и те же леденящие душу слова:

«Ну, что ж? – Убит!»

Теперь это было ясно и ему.

Владимиру Ивановичу вспоминался четырехлетней давности разговор с Пушкиным по дороге в Берды. Александр Сергеевич в ту пору вынашивал замыслы великой книги, какая еще не появлялась из-под его волшебного пера. «О, вы увидите: я еще много сделаю! – сказал он тогда Далю. – Ведь даром что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так

жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я…»

Даль отвернулся и украдкой вытер катившиеся по щекам слезы.

Рано утром приехал Спасский. Он оставил Александра Сергеевича с некоторой надеждой, которая появилась у всех после пиявок. Но Пушкин «истаевал», как записал Иван Тимофеевич. Руки больного были холодные, пульс едва определялся, дыхание частое, прерывистое.

Консилиум врачей в составе Арендта, Спасского, Даля и Андреевского единогласно сошелся во мнении, что начинается агония.

«Ударило два часа пополудни, 29 января, – вспоминал Даль, – и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа».

Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, заполнивших прихожую: «Больной находится в весьма опасном положении».

К постели поэта подошли **его** друзья. В этот момент Пушкин открыл глаза и попросил морошки.

Послали за морошкой. Он ожидал ее с большим нетерпением и несколько раз справлялся, скоро ли будет морошка?

Наталья Николаевна сама дала ему из ложечки несколько ягод и сока.

Лицо поэта выражало спокойствие, и жена вышла от него обнадеженная.

Александр Сергеевич попросил положить его выше.

Даль легко приподнял **его.**

Пушкин вдруг открыл глаза и сказал:

– Кончена жизнь.

Владимир Иванович не расслышал и тихо переспросил:

– Что кончено?

– Жизнь кончена, – ответил он внятно. – Тяжело дышать, давит…

Это были его последние слова.

Констатируя смерть поэта, Даль вспоминал:

«Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также; отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его».

Было 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.

Может быть, именно в этот день будущий словарь Даля пополнился еще одним словом, толкование которого он записал тут же, в квартире Пушкина, на отдельном листке бумаги: «Бессмертие – непричастность смерти, свойство, качество неумирающего, вечно сущего, живущего; жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам или делам его.

Незабвенный, вечнопамятный».

14

Ровно за 100 дней до трагической дуэли на квартире у лицейского старосты М. Л. Яковлева отмечали круглую дату – четверть века Царскосельского Лицея.

Шуточный протокол сходки писал Пушкин:

«…пировали следующим образом:

1) Обедали вкусно и шумно.

2) Выпили три здоровья (по заморскому toast):

а) за двадцатипятилетие лицея,

б) за благоденствие лицея,

в) за здоровье отсутствующих.

3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей.

4) Читали старинные протоколы и песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева.

5) Поминали лицейскую старину.

6) Пели национальные песни.

7) Пушкин начал читать стихи на 25-летие лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу».

Последний пункт выбивался из общего мажорного тона. На душе у поэта было беспросветно грустно, тоскливо, и Александр Сергеевич этого не сумел скрыть.

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей…

Очевидцы вспоминали, что слезы помешали ему дочитать традиционно приготовленное к встрече стихотворение. Он словно чувствовал, что это его последнее 19 октября.

«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого-то подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как ты мог это допустить?…» – причитал лицеист Ф. Ф. Матюшкин.

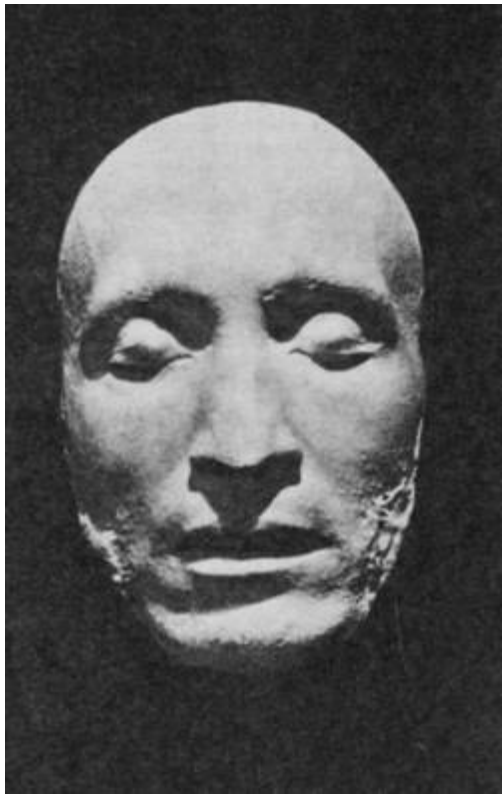
Но что мог сделать лицейский староста Михаил Лукьянович

Яковлев?

В. А. Жуковский, производивший по указанию царя вместе с жандармским генералом Дубельтом «посмертный обыск» в бумагах А. С. Пушкина, имел возможность познакомиться с письмами Бенкендорфа к поднадзорному поэту и воочию удостовериться, что ни один из русских писателей не притеснялся более покойного. Сердце его сжалось при этом чтении, как признался Василий Андреевич.

Пушкин умер 29 января. По злой иронии судьбы это был день рождения В. А. Жуковского. Но после гибели Пушкина это был уже не тот осторожный и склонный к компромиссам человек, каким он прожил свои предшествующие 54 года и каким его знали при дворе. В горестные дни прощания с другом-поэтом Жуковский нарушил свои принципы поведения и выступил с гневными обвинениями в адрес второго лица в государстве.

«…Каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такой сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить места без навлечения на себя подозрения или укора? – вопрошает он гонителя поэта. – В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление?»



Посмертная маска А. С. Пушкина. Скульптор С. И. Гальберг

Приведем еще небольшой отрывок из этого документа, чтобы показать гражданскую позицию Жуковского:

«…В одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям свои произведения для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя… Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее…»

Что мог сделать Яковлев или кто-нибудь другой из друзей поэта, если, как писал Жуковский, «…ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждаться видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем

альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение…».

В. А. Жуковский вскрывает истинное отношение Николая I к Поэту.

Смелое письмо это всесильному жандарму перечеркивает верноподданнические строки другого письма, написанного той же рукой и впоследствии (когда забылся повод, из-за которого сочинялись идиллические сцены духовной связи умирающего Пушкина с царем) оказавшего неблагоприятное влияние на репутацию автора.

Смерть Пушкина поразила все общество. Даже Геккерен в секретной депеше своему министру иностранных дел вынужден был отметить это: «…Долг чести повелевает мне не скрыть от Вас того, что общественное мнение высказалось при кончине Пушкина с большей силой, чем мы предполагали…»

И это несмотря на правительственное запрещение «всякого особенного изъявления» чувств и предписание печати соблюдать «умеренность и такт приличия».

В нарушение высочайших указаний в траурные дни был напечатан лишь один прочувствованный некролог:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января 2 часа 45 мин. пополудни».

Не допущенный на страницы общественной печати плач по Пушкину ушел в русло личной переписки передовых деятелей русской культуры, ставшей важным историческим документом эпохи.

«…В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами, – писал В. А. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. – Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего люЬимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось… У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?…»

Приведу еще один яркий образец подобного письма. Александр Карамзин – брату Андрею в Париж: «…Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии… в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле

дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!.. Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..»

В огромном числе списков распространялось лермонтовское стихотворение, в котором был не только плач по поэту, но и гражданское негодование и требование возмездия.

Николай I моментально отреагировал на этот призыв и без оглядки на «божий суд» учинил свой, царский. Уже 25 февраля было велено «Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова… перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского[26] выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

* * *

Законный наследник Пушкина, М. Ю. Лермонтов повторил его путь: от ссылки – к смерти на дуэли и – к бессмертию. Стихотворение, за которое он заплатил столь дорогой ценой, открыло многим глаза на истинных виновников трагической гибели Поэта.

«Трагическая смерть Пушкина, – вспоминал И. И. Панаев, – пробудила Петербург от апатии… Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение».

По самым скромным подсчетам перед гробом Пушкина прошло несколько десятков тысяч людей. «На похоронах Пушкина и в предсмертные дни его был весь город», – пометил Вяземский в своей записной книжке.

Толпы народа запрудили улицы, по которым должна была двигаться похоронная процессия. С момента декабрьского восстания Петербург не видел такого многолюдья. Во «всеподданнейшем отчете» корпуса жандармов за 1837 год настроение общественных масс запротоколировано следующим образом: «Собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми,

приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту…»

Но Николай еще не забыл унизительных минут страха, пережитого им 12 лет назад. Опасаясь антиправительственных выступлений, он скомкал прощание с поэтом. И не просто скомкал, а запутал и облек в тайну всю похоронную церемонию.

Назначенный для отпевания Исаакиевский собор, о чем уже были разосланы извещения, неожиданно заменили на небольшую церковь Конюшенного ведомства, а вместо торжественного выноса тела гроб перенесли в поспешности ночью.

В том же жандармском отчете об этом говорится без обиняков: «…имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласности устранить все почести, что и было исполнено».

Дом на Мойке оккупировали переодетые жандармы. На улице и в близлежащих дворах были выставлены солдатские пикеты.

«В минуту выноса, на который собрались не более десяти друзей Пушкина, – писал Бенкендорфу жестоко обиженный Жуковский, – жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви…»

Старшая дочь Н. М. Карамзина Софья Николаевна, искренне оплакивавшая Пушкина, так описала брату Андрею обстановку панихиды (я снова цитирую бесценную «Тагильскую находку»):

«…В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: я только здесь первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь: спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока не отвезут его в деревню Один молодой человек,

очень хорошо одетый, умолял Пьера (Мещерского) разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах…»

Памятник на могиле А. С. Пушкина

Чтобы остановить нескончаемый людской поток, гроб сразу же спрятали под замок в церковном подвале. Но на этом «меры предосторожности» не кончились: прах поэта увозили из столицы тоже ночью, тайком, с непристойной поспешностью в сопровождении жандармского офицера. Александру Ивановичу Тургеневу, единственному из друзей поэта, было дозволено проводить его в последний путь. Впрочем, в траурном поезде был еще один близкий А. С. Пушкину человек – Никита Тимофеевич Козлов, его «дядька», не пожелавший расставаться с останками своего барина до самой могилы. Очевидец вспоминал о переживаниях Н. Т. Козлова: «Смотреть было даже больно, как убивался. Привязан был к покойному, очень привязан. Не отходил почти от гроба: не ест, не пьет…»

Спешили. Нещадно погоняли лошадей (за Псковом под гробом пала лошадь). А впереди мчался царский курьер с депешей «о невстрече», как определил ее смысл А. И. Тургенев.

Земля Святогорского монастыря, близкая к «милому пределу», была выбрана самим поэтом.

Вернувшись в апреле 1836 года с похорон матери в Святогорском монастыре, Пушкин сказал жене П. В. Нащокина, что смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным сухим грунтом, вспомнил о Павле Воиновиче, который в это время был болен: «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут, земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать…» Но, говоря о друге, думал о себе: ведь тогда же, когда хоронил мать, откупил место и для себя, уплатив в монастырскую казну положенную сумму. Приготовления его, увы, очень скоро пригодились.

Перезябшие ямщики, не зная хорошенько дороги в Святые Горы, завернули в Тригорское. «Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не встретиться с Тригорским и с нами», – записала дочь П. А. Осиповой Е. И. Фок.

Похоронили А. С. Пушкина на рассвете 6 февраля. Крестьяне на плечах вынесли гроб из церкви и опустили в только что вырытую мерзлую могилу. «Мы предали земле земное…» – записал А. И. Тургенев.

Некоторые плакали. Речей над гробом не произносилось.

Царь не воспротивился последней воле Пушкина, полагая, что чем дальше от столицы он будет покоиться, тем скорее о нем забудут. Он не мог предположить, что этот уголок исконно русской земли станет священным местом, нашей Меккой.

«…Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной Святогорского монастыря в Псковской области, где похоронен Пушкин, – писал К. Г. Паустовский. – Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России…»

Мысль Паустовского хочется продолжить и сказать о далеких и чистых далях, открывающихся с высот поэзии Александра Сергеевича Пушкина.

П. А. Плетнев, побывавший на могиле Александра Сергеевича одним из первых, так обрисовал ее первоначальный вид: «Площадка – шагов в двадцать пять по одному направлению и около десяти по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Она укладена дерном. Посредине водружен черный крест, на котором

из белых букв складывается имя „Пушкин“.

Спустя четыре с половиной года после гибели мужа «смертельно опечаленная» Наталья Николаевна установила на его могиле памятник, сохранившийся до наших дней.

«Пушкина хоронили дважды, – пишет в своей книге „У лукоморья“ хранитель этого заповедного края С. С. Гейченко. – … Установка памятника оказалась непростым делом. Нужно было не только смонтировать и поставить на место привезенные из Петербурга части, но и соорудить кирпичный цоколь и железную ограду; под все четыре стены цоколя на глубину два с половиной аршина подвести каменный фундамент и выложить кирпичный склеп, куда было решено перенести прах поэта. Гроб был предварительно вынут из земли и поставлен в подвал в ожидании завершения постройки склепа. Все было завершено в августе».

Скромное надгробье представляет собой невысокий (чуть более двух метров) четырехгранный обелиск белого мрамора, возвышающийся над небольшой аркой с траурной урной. Арка опирается на массивную черную плиту, на которой золотыми буквами выбиты имя, отчество, фамилия, место рождения и даты рождения и смерти. И больше ничего. Да больше и не надо: Александр Сергеевич Пушкин – этим все сказано.

15

Можно ли было спасти Пушкина?

Вопрос этот в различных вариациях возникает так часто, что и нам от него не уйти. Уже сама постановка его говорит о многом: Поэт, скончавшийся почти полтора века назад, воспринимается как наш современник, и время не в состоянии приглушить боль утраты.

Чтобы грамотно оценить возможности лечения, надо прежде всего иметь представление о морфологических изменениях в органах погибшего.

До нас дошла записка Даля «Вскрытие тела Пушкина», из которой следует, что, кроме огнестрельного многооскольчатого перелома костей таза и сравнительно небольшого количества крови, скопившейся в животе, имелось воспаление брюшины. Его источником, по всей видимости, было омертвение стенки тонкой кишки на ограниченном участке («величиною с грош», как отметил В. И. Даль).

Причина изменений кишки до сих пор окончательно не установлена: одни считают это результатом ушиба пулей, другие – вторичного ранения острым костным осколком, хотя для развития перитонита это уже не существенно.

«Вскрытие… показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным», – подвел итоги В. И. Даль.

Однако прежде чем мы попытаемся понять, почему он сделал такое безоговорочное заключение, несколько слов о самой процедуре вскрытия.

Производилось оно в соответствии с Указом военной коллегии от 1779 года об обязательном вскрытии трупов умерших насильственной смертью. Выполнено оно, к сожалению, не в полном объеме и весьма поверхностно. Это понимал Даль, записавший: «Время и обстоятельства не позволили продолжить подробнейших разысканий».

Но осуждать исследователей нельзя: за стеной раздавались рыдания Натальи Николаевны, а с улицы доносился неутихающий гул толпы.

Расчет времени, проведенный Ш. И. Удерманом, дает основание считать, что вскрытие было выполнено 29 января в промежутке между 16 и 20 часами.

В самом деле, раньше – нереально, так как около часа ушло, пока скульптор Гальберг снимал гипсовую маску, а позже – сомнительно: в 20 часов, как записано в дневнике А. И. Тургенева, была панихида, после которой, учитывая религиозно-этические

соображения, вряд ли стали бы производить вскрытие. На следующий день в передней уже был выставлен гроб с телом покойного.

Лицо поэта, по воспоминаниям очевидцев, было необыкновенно спокойно. Казалось, он спал. Кудрявые волосы разметались по атласной подушке, густые бакенбарды окаймляли впалые щеки, выбивались из-под широкого черного галстука. Пушкина положили в гроб не в ненавистном ему камер-юнкерском мундире, а в его любимом темно-коричневом сюртуке.

В. А. Жуковский величавым гекзаметром написал простые и трогательные стихи: «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе руки свои опустив… были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо…»

Записка Даля о вскрытии не является официальным документом. Да и составлена она не по форме.

Вскрытие – и это мы уже обсуждали – должно быть, производил доктор Спасский, имевший на то полное право как дипломированный судебно-медицинский эксперт. Надо полагать, что им был составлен официальный протокол, который, возможно, когда-нибудь и будет обнаружен. А записка Даля – это больше впечатления человека, присутствовавшего при исследовании или, может быть, помогавшего Спасскому. Но и той информации, которая содержится в ней, вполне достаточно, чтобы согласиться с утверждением Владимира Ивановича о безусловной смертельности ранения.

Я полагаю, читатель успел убедиться, что у постели поэта собрались в высшей степени достойные представители отечественной медицины пушкинской поры. Проводимые ими мероприятия, не всегда рациональные с наших сегодняшних позиций, находились в согласии с господствовавшими в то время принципами ведения больных с огнестрельным ранением живота. Для спасения Пушкина требовалась в первую очередь серьезная операция на органах брюшной полости. Однако подобные хирургические вмешательства с большой осторожностью стали производить только в последней четверти XIX века. Я не буду повторять общеизвестного – значения для исхода заболевания антибиотиков, переливания крови, питательных растворов и других распространенных сегодня медикаментов, о которых тогда и не помышляли.

Как верно заметил один из исследователей истории болезни Пушкина, если бы раненый поправился, это была бы счастливейшая случайность, и врачи не имели бы права приписывать такой исход своему лечению.

Здесь любопытно отметить один психологический момент: никто из современников А. С. Пушкина, включая его родных и близких, ни полусловом не упрекнул Н. Ф. Арендта и его коллег в том, что они не спасли поэта. Доктора, волей судьбы собравшиеся у постели умирающего Пушкина, до последних дней своей жизни не теряли уважения коллег, в том числе таких нелицеприятных, каким был Н. И. Пирогов.

Упреки и даже обвинения в адрес врачей стали раздаваться значительно позже, когда хирурги научились оперировать и лечить подобных больных. Писатель и биограф А. С. Пушкина Л. П. Гроссман так сформулировал эти мнения: «Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта».

Однако броская его формулировка не совсем точна.

Выдающийся советский хирург С. С. Юдин, хотя и усмотрел в лечении Пушкина целый ряд ошибок, допущенных врачами, четко заявил на страницах газеты «Правда», что рана его была по тому времени, несомненно, смертельна. Такое же заключение сделал другой известный наш врач и историк медицины профессор И. А. Кассирский.

В столетие со дня смерти поэта в старом здании Академии наук на Волхонке проходило необычное заседание Пушкинской комиссии. За столом президиума собрался цвет советской хирургии. В переполненном зале – писатели, поэты, литературоведы. Первый ряд занимали потомки Пушкина.

Председательствовавший – писатель и врач В. В. Вересаев, автор известной книги «Пушкин в жизни», – предоставил слово знаменитому нашему хирургу, впоследствии президенту АМН СССР, профессору Н. Н. Бурденко, который выступил с докладом о ранении поэта и его лечении.

К сожалению, рукопись доклада Н. Н. Бурденко до сих пор не обнаружена, а писатель Анатолий Гудимов в статье «В граненый ствол уходят пули» («Журналист» № 9 за 1967 г.) признался, что при подготовке информации о заседании Пушкинской комиссии вставил несколько строк о том, что раненого Пушкина можно было спасти.

«…Нет мне покоя, пока я не разыщу стенограмму доклада Н. Бурденко и не опубликую ее. Наверное, только так я полностью искуплю ошибку, допущенную в молодости», – писал он в заключении статьи.

Но Гудимов скончался, не успев осуществить своих намерений. Однако так ли уж необходим текст выступления, чтобы удостовериться, что Н. Н. Бурденко никогда не мог сделать такого опрометчивого заявления?

Н. Н. Бурденко был крупнейшим специалистом по военно-полевой хирургии (во время Великой Отечественной войны он по праву возглавил хирургическую службу нашей армии). Приобщался он к основам хирургии в том же самом бывшем Дерптском университете, в котором в свое время учился и преподавал великий Пирогов, и, естественно, прекрасно знал историю этой науки.

Кроме того, вторым докладчиком на том же заседании Пушкинской комиссии 1937 года был ученик Н. Н. Бурденко доктор А. А. Арендт, который утверждал, что ранение А. С. Пушкина на том уровне развития хирургии было, несомненно, смертельным.

Трудно предположить, чтобы учитель и ученик выступали с такой высокой трибуны с диаметрально противоположными взглядами.

Скажу больше, в архиве А. А. Арендта, с которым несколько лет назад меня познакомила ныне покойная Евгения Григорьевна Арендт – вдова Андрея Андреевича, сохранился машинописный текст двух выступлений, на них стоит остановиться.

Одно из них («Ранение А. С. Пушкина и его лечащий врач Николай Федорович Арендт») начинается такими словами: «Пушкинская комиссия АН СССР оказала мне честь, предложив выступить с докладом на сегодняшнем торжественном заседании, посвященном столетию со дня смерти А. С. Пушкина. Эту честь я должен приписать в значительной степени тому обстоятельству, что руководящим лицом при лечении Пушкина был мой прадед Николай Федорович Арендт…» Авторство этого доклада не вызывает сомнений.

Памятник А. С. Пушкину в Ленинграде. Скульптор М. Аникушин

Тезисы другого сообщения «Хирургия времени Пушкина. Ранение А. С. Пушкина и его лечение» тоже подписаны А. А. Арендтом. Но ведь он выступил только с одним докладом, а доклад, который сделал Н. Н. Бурденко, имел именно такое название. Можно предположить: материалы этого доклада были подготовлены А. А. Арендтом, и поэтому Николай Нилович Бурденко не включил его в собрание своих трудов.

Заключительный абзац рукописи резюмирует ее содержание: «У врачей пушкинского периода арсенал медицинских возможностей по борьбе с грозными явлениями перитонита был крайне скудный и малоценный, и поэтому предъявлять обвинения в неправильном ведении и лечении или в недостаточной смелости в проведении тех или других видов лечения не представляется возможным. Они исчерпали все то, что могли дать, они применили все то, чем располагала медицина того времени. В тот период ранение Пушкина было смертельным при

всех обстоятельствах».

В «Литературной газете» 5 февраля 1937 года была опубликована краткая информация об этом собрании:

«Все ли возможное сделали врачи, чтобы спасти и продолжить жизнь великого поэта? Этим вопросам, волнующим вот уже 100 лет умы многочисленных читателей Пушкина, были посвящены доклады заслуженного деятеля науки профессора-орденоносца Н. Н. Бурденко и доцента А. А. Арендта, сделанные ими вчера на заседании Пушкинской комиссии АН СССР. В интересном и содержательном докладе Н. Н. Бурденко ознакомил аудиторию с состоянием хирургической науки в первой половине XIX века и охарактеризовал известных хирургов того времени, в том числе врачей, лечивших Пушкина. Основываясь на дошедших до нас материалах, докладчик описал рану Пушкина и подробно рассказал о ходе болезни поэта, о методах его лечения.

Н. Н. Бурденко и А. А. Арендт доказывают несостоятельность точки зрения некоторых врачей, утверждающих, что лейб-медик Арендт, руководивший лечением Пушкина, не облегчил по политическим мотивам страданий поэта и не сохранил ему жизнь.

Пушкин, как известно, был ранен в брюшную полость. Ранение в эту область тела неизбежно вызывает перитонит – болезнь, которая при тогдашнем состоянии хирургической науки неизбежно влекла за собой смерть.

Ничего противоречащего методам лечения, которые обычно применялись в те времена при заболевании перитонитом, лейб-медик Арендт и другие врачи, лечившие поэта, не делали. Таков основной вывод вчерашних докладов в Пушкинской комиссии Академии наук».

Эта информация полностью соответствует содержанию тех двух рукописей, с которыми мне удалось познакомиться в архиве А. А. Арендта.

Надо заметить, что каждый раз, когда медики объективно и честно оценивали сложившуюся ситуацию, они приходили к такому же выводу. Так совсем недавно, в традиционные Пушкинские дни 1982 года, во Всесоюзном научном центре хирургии АМН СССР состоялась специальная научная конференция, посвященная ранению и смерти А. С. Пушкина. Тема заседания, казалось бы, далекая от насущных проблем здравоохранения, собрала большую заинтересованную аудиторию ученых. Один из ведущих наших хирургов академик Б. В. Петровский так сформулировал общее мнение собравшихся: «С позиций современной хирургии мы можем сказать, что перед тяжелым ранением А. С. Пушкина наши коллеги первой половины

XIX века были беспомощны».

Несколько слов о том, как изменялись шансы на благоприятный исход лечения раненого в живот на различных этапах развития хирургии.

На XIV съезде российских хирургов, проходившем в декабре 1916 года, были подведены итоги лечения раненых во время первой мировой войны. Большинство докладчиков высказывались в пользу выполнения срочного оперативного вмешательства раненому в живот. Смертность при этом составляла 60 %, тогда как из каждых 100 больных, которых не оперировали, погибало более 90 человек.

Во время Великой Отечественной войны уже не было двух мнений: оперировать или выжидать. Активная хирургическая тактика позволила сократить смертность при этих ранениях в 2–3 раза, а внедрение в практику пенициллина и других антибиотиков еще уменьшило число неблагоприятных исходов.

И хотя статистические подсчеты показывают, что и сегодня еще далеко не все 100 % больных с подобными ранениями удается спасти, я как хирург не могу принять позицию тех, кто не знает, на какой «чаше весов» оказалась бы жизнь А. С. Пушкина. Каждый раз, становясь к операционному столу, хирург надеется на успех.

Библиография

Андрианова А. Д. Ранение и смерть А. С. Пушкина В сб.: Из истории медицины. Вып. 5. Рига, 1963.

Андроников И. Л. Тагильская находка. Собр. соч., т. 1. М., 1980.

Вересаев В. В. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1927.

Гейченко С. С. У лукоморья. Л., 1977.

Гроссман Л. П. Пушкин. Серия ЖЗЛ. М., 1960.

Дуэль Пушкина с Дантесом Геккереном. Подлинное военно-судебное дело 1837 г. Спб., 1900.

Заблудовский А. М. Русская хирургия первой половины XIX века. Новый хирургический архив, т. 39. кн. I, 1937.

Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели. Спб., 1886 1888.

Лахтин М. Большие операции в истории хирургии. М., 1901.

Лотман К). М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982.

Лукьянов С. М. О последних днях жизни и смерти А. С. Пушкина с медицинской точки зрения. Спб., 1899.

Му дров М. Я Избранные произведения. М., 1949.

Попова Н. И. Музей-квартира А. С. Пушкина. Л., 1980.

Оппель В. А. История русской хирургии. Вологда, 1923.

Петровский Б. В. Ранение на дуэли и смерть А С. Пушкина. Клиническая медицина, 1983, № 4.

Пирогов Н. И. Вопросы жизни (Дневник старого врача). Спб., 1885.

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. Под обшей ред. В. В. Григоренко и др. М., 1974.

Удерман Ш. И. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. Л., 1970.

Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М… 1951.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975.

Ч стович Я А. История первых медицинских школ в России. Спб., 1870.

Щеголе в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М… 1936.

Юдин С. С. Ранение и смерть Пушкина. Правда. 1937, 8 февраля

Доктор А. П. Чехов
Издание 4-е, дополненное

А. П. Чехов в Ялте

От автора

На двери московского Дома-музея А. П. Чехова, к которой ведут три невысокие ступеньки, прибита старинная чугунная табличка «Докторъ Чеховъ». Рядом с входом на этой же стене уютного двухэтажного особняка, расположенного на Садово-Кудринской, висит мемориальная доска: «Здесь жил с 1886 по 1890 г. великий русский писатель Антон Павлович Чехов».

Большая мраморная доска с золотыми буквами, естественно, затмевает едва приметную чугунную табличку. Точно так же врачебная деятельность Чехова, по сравнению с его литературными трудами, имеет частное значение. Но нельзя забывать высказываний самого Антона Павловича о серьезном влиянии медицинских наук на его творчество; профессия врача не могла не отразиться и на личности писателя.

Скромная табличка на двери чеховской квартиры напоминает, что один из самых любимых наших писателей вышел не только из гоголевской «Шинели», положившей начало русской прозе, но и из белого медицинского халата.

Рассмотрению некоторых аспектов медицинской деятельности А. П. Чехова посвящается настоящая книга. В работе над биографией Чехова я нередко обращался к различным литературным источникам, часть из которых приведена в библиографическом указателе. Но лучшая книга о Чехове написана самим Антоном Павловичем: это – его письма. Поэтому, сколько было возможно, я старался предоставлять слово доктору Чехову.

В выборе факультета не раскаялся…

Собирая материалы о жизни и творчестве А. П. Чехова, я заказал в библиотеке трехтомник «Русские врачи-писатели». Работа Льва Федоровича Змеева – «почетного члена общества орловских врачей, доктора медицины», как было указано в формуляре, выходила в С.-Петербурге в 1886–1888 гг., и я надеялся почерпнуть из нее интересные сведения о раннем Чехове и его предшественниках.

Но издание оказалось справочником, где в алфавитном порядке приведены краткие биографические данные о врачах, когда-либо выступавших в специальной печати со статьями по различным вопросам биологии и медицины. Не встретил я здесь ни фамилии военного врача В. И. Даля – создателя «Толкового словаря живого великорусского языка», ни земского врача А. П. Чехова.

Мы привыкли понимать под словом «писатель» человека, создающего литературные произведения, а не научные статьи.

И все-таки, как профессии врача и писателя ни далеки друг от друга, между ними существует глубокая связь. Об этом, кстати, не так давно напомнил на международном конгрессе врачей в Париже французский писатель Андре Моруа, увидевший родство этих профессий в том, что представители обеих «относятся к человеческим существам со страстным вниманием; и те и другие забывают о себе ради других людей».

А. П. Чехов. 1898

Не потому ли медицина подарила миру много писателей, и среди них таких выдающихся, как Рабле, Шиллер, Чехов, Булгаков?

А одна из врачебных эмблем, предложенная в XVII в. знаменитым голландским врачом Тульпиусом,[27] – горящая свеча («светя другим, сгораю сам»[28]) могла бы стать достойным украшением писательского флага.

В мемуарной и исследовательской литературе о Чехове можно встретить мнение, что врачом он стал по недоразумению, что медицинская деятельность его тяготила, и он постоянно хотел от нее освободиться. Подобные суждения в значительной степени основываются на высказываниях самого Чехова. Но, как справедливо замечает И. Г. Эренбург, в письмах Антона Павловича еще чаще встречаются признания, что ему опротивела литературная работа.

Мы же не принимаем их всерьез.

Каждому знакомы такие моменты, под влиянием которых вырываются не отражающие действительности слова.

А в конспективной автобиографии, составленной по случаю пятнадцатилетия окончания университета, Антон Павлович сообщает, что в выборе медицинского факультета он не раскаивается.

В. В. Вересаев – автор знаменитых «Записок врача», поступая в медицинский институт, мечтал стать писателем. Выбор института (уже второго – после окончания историко-филологического факультета университета) был обусловлен, как утверждает Вересаев в своих «Воспоминаниях», стремлением будущего писателя в совершенстве ориентироваться в строении и функции человеческого организма, в здоровых и болезненных состояниях как тела, так и духа.

А. П. Чехов, поступая на медицинский факультет университета, не догадывался об уготованной ему судьбе классика русской литературы. Он должен был получить диплом врача, чтобы зарабатывать на хлеб и кормить семью.

Вопрос о выборе факультета, по-видимому, был решен на семейном совете еще до отъезда Антона Павловича из Таганрога[29] в Москву. Сохранилось письмо матери, в котором есть такие строки: «…Терпенья не достает ждать, и непременно по медицинскому факультету иди, уважь меня, самое лучшее занятие».

Тон письма и просьба «уважить» мать дают повод думать, что у Антона Павловича имелись на этот счет еще какие-то соображения.

В жизни редко бывает, когда врачом становятся по неодолимому желанию, как это случилось с выдающимся нашим хирургом Н. И. Пироговым или немцем Альбертом Швейцером. История последнего примечательна: тридцатилетний профессор философии и теологии Страсбургского университета, известный органист, выступавший в лучших концертных залах Европы, решив стать врачом, поступил на медицинский факультет того же учебного заведения, где продолжал профессорствовать. У подавляющего большинства подлинное зрелое увлечение медициной приходит в процессе учебы или врачебной практики.

Так или иначе, 10 августа 1879 г. Чехов подал заявление на медицинский факультет и был зачислен в Московский университет со стипендией как неимущий от Таганрогской городской управы.

В последующем он с лихвой рассчитался с городской управой, создав у себя на родине в Таганроге первоклассную библиотеку (впрочем, когда говоришь о родине А. П. Чехова, представляется вся Россия, а не тихий провинциальный городок Таганрог. Точно так же, как созданная им библиотека

воспринимается значительно шире, чем конкретная библиотека, носящая сегодня имя Чехова).

Первое знакомство с университетом произвело на Антона Павловича неблагоприятное впечатление. Известный литературовед, автор одной из последних биографических книг о Чехове академик Г. П. Бердников считает, что это настроение запомнилось Антону Павловичу на долгие годы и через 10 лет выплеснулось на страницах «Скучной истории»: «…А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен… унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой…»

Об учебе А. П. Чехова в университете имеются весьма скудные сведения.

Можно упрекать его друзей и знакомых, не сохранивших для потомков ничего примечательного об этом периоде жизни Чехова. Но в то же время отсутствие этих сведений свидетельствует и о том, что Антон Павлович уже в те годы был человеком чрезвычайно сдержанным. (Через несколько лет он скажет брату Николаю,[30] что воспитанные люди «не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат…»)

Однажды – уже на четвертом курсе – Антон Павлович признается брату Александру, что боится сорваться на выпускных экзаменах: «…Отзываются кошке мышкины слезки; так отзывается и мне теперь мое нерадение прошлых лет… Почти все приходится учить с самого начала. Кроме экзаменов (кои, впрочем, еще предстоят только), к моим услугам работа на трупах, клинические занятия с неизбежными гисториями морби, хождение в больницы…»

Думаю, что Антон Павлович слегка бравирует своей

неподготовленностью, как это испокон веков было свойственно студентам в общении друг с другом; хотя можно допустить, что в его медицинском образовании имелись пробелы, только вызванные не «нерадением», а напряженным на протяжении всех этих лет журналистским и литературным трудом, постоянной заботой о куске хлеба. Бедность побуждала к неустанной или, пользуясь его определением, «форсированной» работе: более 200 различных материалов в этот период ежегодно публикует Чехов в газетах и журналах.

За годы учебы в университете А. П. Чехов (А. Чехонте) подготовил сборник рассказов «Сказки Мельпомены», а всего же на страницах «Стрекозы», «Осколков», «Будильника», «Зрителя», «Мирского толка» и других органов малой прессы им было напечатано столько обзоров, анекдотов, пародий, фельетонов, репортажей, очерков и рассказов, что только часть их смогла уместиться в первые два тома собрания сочинений писателя. Кстати, ряд его выступлений в печати навеян учебными программами. Так, в одном из писем Н. А. Лейкину он обещает написать для него «статистику» и объясняет почему: «…я зубрил недавно медицинскую статистику, которая дала мне идею».

Однако все его литературные гонорары уходят, как он выражался, в «утробу» – на пропитание многочисленной семьи, а сам Антон Павлович не имеет даже возможности сменить ветхий серенький сюртук на новый костюм.

Но ни в годы учебы, ни позже, никогда в жизни он не позволит себе переложить заботы о матери, отце и сестре на другие плечи, даже имея такое веское основание, как подорванное непосильным трудом и тяжелыми условиями жизни здоровье.

«…Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканье и проч. Это естественно и извинительно. Такова уже натура человеческая…» – напишет он в марте 1886 г. брату Николаю в известном письме, в котором изложен чеховский кодекс порядочного и воспитанного человека.

И хотя правила адресованы брату, характер которого писатель анатомирует в этом письме, обнажая перед ним слабые и сильные стороны его натуры, сам Антон Павлович давно уже живет по этому кодексу.

О том, в каких условиях Антону Павловичу приходилось готовиться к выпускным экзаменам и заниматься литературным творчеством, можно судить из «сопроводиловки» в редакцию к очередной порции фельетонов и рассказов: «…Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа,

хлопающая немилосердно по совести…»

Прервем на минуту цитату. «Не литературная работа» – это медицина, а угрызение совести он периодически будет испытывать то перед медициной, то перед литературой в зависимости от того, чему больше будет уделять времени и сил. Через несколько лет он признается писателю Д. В. Григоровичу: [31] «Поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне».

Итак, в каких же все-таки условиях ему приходилось заниматься науками и зарабатывать хлеб свой насущный? Вот трагикомическая ситуация, которую он красочно рисует:

«…В соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“… Кто-то завел шкатулку; и я слышу „Елену Прекрасную“… Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. „У дочки, должно быть, резь в животе – оттого и кричит…“ Я имею несчастье быть медиком, и нет того индивидуя, который не считал бы нужным „потолковать“ со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу. Обстановка бесподобная…»

Однако, несмотря ни на что, Антон Павлович весьма успешно осваивает клинические дисциплины. Подтверждением этому могут служить «кураторские карточки» – те самые «гистории морби», о которых он писал брату Александру.

Один «скорбный лист» – так тогда именовалась история болезни, – обнаруженный в наши дни исследователем И. В. Федоровым в архивах бывшей Ново-Екатерининской больницы, был заполнен Чеховым на шестидесятилетнюю крестьянку, заболевшую крупозной пневмонией и выписанную по выздоровлении. История болезни была составлена в лучших традициях московской медицинской школы, возглавляемой выдающимся терапевтом, профессором Г. А. Захарьиным.

Другой «скорбный лист» пользованного А. П. Чеховым больного, девятнадцатилетнего Александра М., был представлен на зачет в клинику нервных болезней, профессору А. Я. Кожевникову, который тоже был учеником Г. А. Захарьина и, следовательно, исповедовал те же принципы определения болезни; установление диагноза – это поиски неизвестного по определенной, научно обоснованной системе расспроса, осмотра и обследования больного.

О том, как Антон Павлович с этим справился, впоследствии рассказывал профессор Г. И. Россолимо – однокашник Чехова по медицинскому факультету, один из основателей отечественной

невропатологии, рецензируя эту историю болезни:

«Антон Павлович подошел к своей задаче не как заурядный студент-медик; он правда… нанизал материалы элементарного исследования удивительно гладко и аккуратно, проявив в полной мере все качества добросовестнейшего медика-ученика… Но там, где надо было описать быт и условия жизни пациента, прикоснуться к обыкновенной человеческой жизни, вскрыв ее интимные стороны и дав ее картину, там, где пришлось охарактеризовать болезнь с ее сущностью, условиями развития и течения в то время или в дальнейшем, там чувствуется, что А. П. точно покатило по гладкой дороге, по рельсам, без усилий и без напряжений, видно, как лебедь, поплыл по своей стихии, по гладкой поверхности тихой воды, в отличие от барахтающихся студентов – просто медиков, непривычных к живому изложению возникающих в сознании образов».

Нам остается только добавить, что, анализируя истоки неврастении у молодого человека, Антон Павлович очень точно подмечает влияние внушения на слабую психику больного, в данном случае – внушения, вызванного чтением медицинской книги, где были указаны возможные, но не обязательные последствия порока, которым страдал юноша («…Больной не замечал этой болезни, ослабления памяти и общей слабости до тех пор, пока не прочитал книги…»).

Через несколько лет в рассказе «Волк» Чехов даст прекрасное описание клиники невроза так называемого навязчивого состояния у сильного мужественного человека, не дрогнувшего во время схватки с волком, но потерявшего всякое самообладание и выдержку в томительном ожидании у себя признаков бешенства.

«– Доктор! – начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица. – Григорий Иванович! Делайте со мной что хотите, но дальше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!..»

И вот доктор Григорий Иванович Овчинников (заметим, что так же звали друга Чехова – невропатолога Россолимо; но это, возможно, случайное совпадение, хотя в рассказе «Неприятность», написанном два года спустя, снова действует врач Григорий Иванович Овчинников), хорошо понимающий природу страдания своего пациента, прибегает к испытанному и верному врачебному приему – пытается переключить внимание больного с этой страшной болезни на менее опасную.

«– Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь

вроде…»

Умелого врачебного внушения оказалось достаточно, чтобы вернуть этого человека к жизни: «…Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде…»

Рассказ впервые был напечатан под названием «Водобоязнь» с подзаголовком «Быль» и, действительно, очень напоминает случай из врачебной практики. Антону Павловичу он, по-видимому, был дорог описанием лунной ночи, которое неоднократно в разных вариантах приводилось им в качестве примера создания общей картины с помощью детали: «…На плотине, залитой светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки…»

Сегодня редкая научная работа по иатрогенным заболеваниям, т. е. душевным расстройствам, возникшим в результате неправильного влияния врача на психику больного, обходится без цитаты из записной книжки А. П. Чехова:

«Z идет к доктору, тот выслушивает, находит порок сердца. Z резко меняет образ жизни, принимает строфант, говорит только о болезни – весь город знает, что у него порок сердца; и доктора, к которым он то и дело обращается, находят у него порок сердца. Он не женится, отказывается от любительских спектаклей, не пьет, ходит тихо, чуть дыша. Через 11 лет едет в Москву, отправляется к профессору. Этот находит совершенно здоровое сердце. Z рад, но вернуться к нормальной жизни уже не может, ибо ложиться с курами и тихо ходить он привык, и не говорить о болезни ему уже скучно. Только возненавидел врачей и больше ничего».

Достоверный сюжет этот, к сожалению, изредка повторяется и в наше время, и можно смело утверждать, что он является доподлинной записью истории болезни какого-нибудь Z, попавшего в поле зрения врача и писателя А. П. Чехова.

Не многие знают, что, будучи студентом четвертого курса, Антон Павлович задумал научную работу «История полового авторитета». Мысли об этой неосуществленной работе появились у Чехова под влиянием трудов Чарлза Дарвина, эволюционный метод которого он планировал использовать для изучения взаимоотношений полов на всех ступенях развития животного мира, от простейших до человека.

Для нас сегодня не то важно, что к решению социальной проблемы взаимоотношений полов в человеческом обществе Чехов хотел подойти с биологическими мерками. Пройдет около десяти лет, и в повести «Дуэль» он осудит идеи социального

дарвинизма, высказываемые зоологом фон Кореном. Вот образчик рассуждений зоолога: «…Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и отбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел – в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних…» А поэтому, коль скоро человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных, то их надо либо возвысить до нормы, как считает фон Корен, либо – обезвредить, т. е. уничтожить.

Ницшеанские взгляды на улучшение человеческой породы путем насильственного уничтожения слабых антипатичны врачу и гуманисту А. П. Чехову.

Знакомство с трудами Ч. Дарвина имело первостепенное значение в формировании материалистического мировоззрения писателя. Антон Павлович надолго сохранит интерес к работам великого ученого: «…Читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю», – сообщает он писателю В. В. Билибину в 1886 г.

Знаменательно, что в самой первой своей публикации – в «Письме к ученому соседу» – А. П. Чехов зло высмеивает воинствующих обывателей, выступающих против дарвиновской теории происхождения человека: «…Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек, орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце…»

На последнем курсе университета и в первый год самостоятельной врачебной практики А. П. Чехов предпринял еще одну попытку научного исследования. На этот раз в области истории медицины.

Работу эту Антон Павлович не афишировал, и только в 1930 г. Н. Ф. Бельчиков случайно натолкнулся в архивах писателя на рукопись под названием «Врачебное дело в России».[32] Исследование это настолько захватило Чехова, что он за всю осень ни разу не выбрался в театр, о чем с сожалением и одновременно с гордостью признавался Лейкину.

Любопытно, что в рассказе «Неприятность», опубликованном в 1888 г. под названием «Житейские мелочи», были такие строки: «…Хорошо также упрятать себя на всю жизнь в келью какого-нибудь монастыря… день и ночь будет он сидеть в башенке с одним окошком, прислушиваться к печальному звону и писать историю медицины в России…»

При редактировании рассказа писатель по каким-то соображениям исключил этот отрывок.

Судя по перечню литературы (112 названий), которую Чехов собирался использовать в работе, он намеревался изучить врачевание с древнейших времен. Так же как герой рассказа «Студент», он верил, что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, и стоит лишь дотронуться до одного конца этой цепи, как дрогнет другой.

Для своего исследования Антон Павлович решил обратиться к историческим летописям, фольклорным материалам, книгам по истории России. Художественной натуре Чехова была близка позиция французского историка Эрнеста Ренана: «Предания, отчасти и ошибочные, могут заключать в себе известную долю правды, которою пренебрегать не должна история…» Цитата эта, выписанная им на отдельном листе, по-видимому, должна была стать методологическим ключом ко всей работе. Ведь именно в эти годы состоялись великие археологические открытия Генриха Шлимана, откопавшего древнюю Трою только благодаря неколебимой вере в истинность гомеровских сказаний.

В этой, по сути дела, только начатой работе Антон Павлович сумел показать, как можно увязать медицину с далекой, казалось бы, от нее историей государства Российского и даже с помощью медицинского диагноза найти ключ к решению одной из увлекательнейших исторических загадок.

«Самозванец не знал падучей болезни, которая была врождена у царевича», – записал он в комментариях к показаниям современников о причинах смерти Дмитрия Угличского.

Чехов, по-видимому, был чрезвычайно горд этим своим открытием и спустя 5 лет рассказал о нем А. С. Суворину:[33] «У настоящего царевича Дмитрия была наследственная падучая, которая была бы и в старости, если бы он остался жив. Стало быть, самозванец был в самом деле самозванцем, т. к. падучей у него не было. Сию Америку открыл врач Чехов».

Единственная публикация А. П. Чехова, близкая к теме задуманной диссертации, посвящена истории болезни Ирода Великого. Обращаясь к библейскому преданию, Антон Павлович проводит научный анализ медицинских аспектов легенды и высказывает аргументированные предположения о причине

мучительной смерти кровавого диктатора. При этом он проявляет глубокие познания симптомов течения не только распространенных в России кожных заболеваний (чесотки, волчанки, сифилиса), но и тропических болезней, которые он мог наблюдать, возвращаясь с Сахалина через Индийский океан (статья опубликована в декабре 1892 г.).

Хотя диссертация «Врачебное дело в России» так и не была написана, опыт научной работы, приобретенный Чеховым, не пропал даром и пригодился ему при работе над «Сахалином».

Антон Павлович высоко чтил своих учителей и свою alma mater. Через четыре года после окончания университета одно из писем к Д. В. Григоровичу, в котором он рассказывает подробности работы над «Степью», начинается словами: «12 янв. Татьянин день. Университетская годовщина…» И заканчивается: «Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших меня резать трупы и писать рецепты…»

Годы учебы Антона Павловича в университете совпали с периодом бурного расцвета биологии и клинической медицины.

Микробиологи во главе с Луи Пастером, Робертом Кохом и Ильей Ильичем Мечниковым вели наступление на инфекционные болезни. Уже физиолог Иван Михайлович Сеченов распространил понятие рефлекса на душевную жизнь человека, а крылатая фраза из его «Рефлексов головного мозга» запоминалась наизусть, как стихотворение: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом является мышечное движение…»

А. П. Чехов глубоко воспринял сеченовскую формулу единства психической и физической сфер человеческой жизни: «…Психические явления поразительно похожи на физические, что не разберешь, где начинаются первые и кончаются вторые? – в унисон с Сеченовым заметит он в одном из писем. – Я думаю, что когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос: где тут душа?»

Яркая личность И. М. Сеченова должна была привлечь внимание Антона Павловича еще и потому, что Сеченов первым допустил женщин не только к слушанию лекций, но и к научно-исследовательской работе, т. е. явился одним из инициаторов высшего женского образования в России.

Еще прочно возвышалось стройное здание «Целлюлярной патологии», возведенное в середине XIX в. гениальным немецким патологом Рудольфом Вирховом – создателем учения о клетке как материальном субстрате болезни. Но уже в недрах

терапевтической школы, возглавляемой С, П. Боткиным, изучались физиологические механизмы, объединяющие разрозненные клетки и органы в неделимый организм.

С. П. Боткин рассматривал медицину в ряду естественных наук и ратовал за врача-естествоиспытателя, основывающего свои заключения на возможно большем количестве строго и научно наблюдаемых фактов.

Антон Павлович был хорошо знаком с его научными трудами и, когда узнал о болезни знаменитого петербургского профессора, очень встревожился: «Что с Боткиным? В русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе… (Захарьина я уподобляю Толстому – по таланту)».

Антон Павлович постоянно сравнивал своих учителей в медицине с писателями, перед которыми преклонялся.

Из только что приведенной цитаты заметно, что как ни высоко он ставит имя С. П. Боткина, все же первое место он отдает Г. А. Захарьину. И это так же неколебимо, как в литературе – Л. Н. Толстому.

Сравнивая Г. А. Захарьина с Л. Н. Толстым, Чехов, по-видимому, не знал, что эти две выдающиеся личности и на самом деле были тесно связаны: Захарьин на протяжении трех десятилетий лечил Толстого от разных болезней. Взаимоотношения пациента и врача переросли в дружбу, о чем свидетельствует отрывок из письма Г. А. Захарьина Л. Н. Толстому:[34]

«…Десять лет назад я оценил в Вас не только первого из современных русских писателей, но и, – еще не зная Вас лично, – человека, симпатии которого, – я хорошо видел это, – несмотря на всю великую объективность Вашего творческого дарования, были там же, где и мои. Сам пожелал узнать Вас и стать на страже Вашего здоровья. С удовольствием вспоминаю об этом, потому что доволен своим тогдашним душевным движением. Если Вы уже тогда были мне дороги, можете судить, как Вы мне дороги теперь. Мои чувства к Вам – братские».

По-видимому, бессмысленно выяснять, ошибался ли Чехов в распределении мест на медицинском Олимпе. Уже давно потерял остроту спор между захарьинской и боткинской терапевтическими школами – знаменитый спор о роли и значении субъективных и объективных методов в обследовании больного человека.

Каждый из этих ученых сказал свое неповторимое и веское слово в медицине. Но понять Антона Павловича можно: «Боткин жил в Петербурге, и А. П. Чехов знал его только по монографиям и выступлениям в печати, тогда как Г. А. Захарьин оказывал на А.

П. Чехова влияние непосредственно с кафедры факультетской терапевтической клиники. Кстати, когда в 1889 г. вышли в свет лекции Г. А. Захарьина, Чехов испытал разочарование: „…Увы! Есть либретто, но нет оперы. Нет той музыки, которую я слышал, когда был студентом…“

«Музыка» захарьинских лекций восхищала многих врачей. Послушать Захарьина приезжали врачи из разных городов России. Однажды его лекцию посетил известный французский терапевт Анри Юшар, и Г. А. Захарьин в знак уважения и гостеприимства прочитал ее на французском языке.

«…Какие дивные лекции мы слышали: все было взвешено, мысль излагалась ясно, глубоко обдуманно: его своеобразная дикция и слог лаконично врезывались в память. Он говорил о данном случае, и вместе с тем мы черпали познания общие по этой болезни… Обладая необычайной памятью, он приводил нам уже бывшие перед нами подобные же случаи и группировал их так, что они стояли перед нашими глазами. Диагноз он ставил так логично, что никаких сомнений у нас не проявлялось… Его лекции бывали переполнены студентами, жаждавшими услыхать новое слово науки», – вспоминал ученик Захарьина профессор Н. Ф. Филатов, создавший отечественную школу детских врачей.

Это был период, когда зарождались новые врачебные дисциплины, и сам Г. А. Захарьин немало способствовал этому.

Однако наряду с С. П. Боткиным он возражал против узкоспециализированного, локального подхода к больному и болезни, учил мыслить по-медицински, т. е. судить по общему, а не по частностям. Кто судит «по частностям, тот отрицает медицину, – писал Антон Павлович. – Боткин же, Захарьин, Вирхов и Пирогов, несомненно, умные и даровитые люди, веруют в медицину, как в бога, потому что выросли до понятия „медицина“.

А. П. Чехову как писателю импонировал доведенный Г. А. Захарьиным до совершенства субъективный метод исследования больного, заключающийся в тщательном расспросе пациента не только об отдельных его ощущениях, но и о мельчайших подробностях его жизни, быта и труда – для «постижения связи всех явлений данного болезненного случая». Наставляя своих учеников, Захарьин говорил: «Сколько бы вы, милостивые государи, ни выслушивали и ни выстукивали, вы никогда не сможете безошибочно определить болезнь, если не прислушаетесь к показаниям самого больного», – и в этом была великая врачебная мудрость.

Именно Г. А. Захарьина и его ближайших учеников, по-видимому, имел в виду герой повести «Скучная история»

университетский профессор Николай Степанович, когда говорил: «…Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют „индивидуализировать каждый отдельный случай“. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях…»

Когда Г. А. Захарьина упрекали в недооценке новых диагностических приемов и методов исследования, он возражал: «…Сколько раз приходилось мне видеть неудовлетворительную деятельность врачей. Набирает такой врач массу мелочных и ненужных данных и не знает, что с ними делать; истратит свое время и внимание на сбор этих данных и, не пройдя правильной клинической школы, не замечает простых, очевидных и вместе важнейших фактов… Такой врач полагает всю „научность“ своего образа действий в приложении „точных“ и, конечно, последних, новейших методов исследования, не понимая, что наука – высшее здравомыслие – не может противоречить простому здравому смыслу».

Я привел эту цитату не только чтобы показать здравый смысл рассуждений Г. А. Захарьина, но и на случай, если книга эта попадет в руки молодого врача.

И в наше время, к сожалению, об уровне диагностической работы того или иного медицинского учреждения нередко судят не по удельному весу правильно и, главное, своевременно поставленных диагнозов, а по числу лабораторных, рентгеновских и прочих исследований, приходящихся на одного больного.

Профессор Захарьин был ярым сторонником профилактического направления в медицине. Он любил повторять: «Копят болезнь пудами, а выходит она из человека фунтами». Антон Павлович, конечно, не раз слышал на лекциях это его выражение.

Много позже умирающий А. П. Чехов, находясь в Баденвейлере, переписывал в различных вариациях: «Здоровье мое поправляется, входит пудами, а не золотниками» – и, наверно, грустно улыбался в этот момент, вспоминая, как по-настоящему звучит любимая поговорка его учителя.

Во врачебном мире Г. А. Захарьин был фигурой весьма колоритной. Ходили легенды о баснословных его гонорарах, сочетавшихся с неимоверной скупостью.

«Он возьмет с Вас сто рублей, – писал А. П. Чехов Суворину, – но принесет Вам пользы minimum на тысячу. Советы его драгоценны». Антон Павлович настолько ценит время профессора, что категорически отказывается консультировать у Захарьина

сына Суворина («инфанта»), которого сам считал абсолютно здоровым. «…Нет ничего хуже, как явиться к врачу и не знать, на что жаловаться. Это баловство…»

Что же касается слухов о скупости профессора, то, как свидетельствует биограф Захарьина А. Г. Лушников, они не соответствуют действительности: он вносил деньги на строительство водопровода в Черногории, а в 1896 г. пожертвовал полмиллиона рублей на церковно-приходские школы, которые находились в бедственном положении. Большие суммы были истрачены им на организацию Музея изящных искусств при московском университете (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). На протяжении более чем 30-летней службы в Московском университете свое жалование за чтение лекций он отдавал в фонд помощи нуждающимся студентам.

Захарьин, далекий от политики, был врачом-гуманистом. На заре своей профессорской деятельности, когда в октябре 1861 г. полиция устроила погром студентов университета, он не остался в стороне, что было отмечено на страницах «Колокола»: «Из профессоров показали участие к судьбе избитых студентов: Ейнбордт и доктор Захарьин, который лишь только узнал, что бьют студентов, прибежал их перевязывать и лечить, почти силою ворвался во двор, где они лежали без чувств, и сделал свое дело…»

А. П. Чехову, ценившему личную независимость и свободу, выдавливавшему из себя, как он писал, по каплям раба, не могла не понравиться эта же черта в характере Г. А. Захарьина, отказавшегося от должности лейбмедика, которую ему предлагали в связи с болезнью императора Александра III. «Врач должен быть независим не только как поэт, как художник, но выше этого как деятель, которому доверяют самое дорогое – здоровье и жизнь», – говорил Г. А. Захарьин, и, как видим, слова его не расходились с делом.

Эту же мысль высказывает Антон Павлович в «Скучной истории»: «…Чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем в искусстве».

В «Скучной истории», к которой мы уже неоднократно обращались, пожалуй, больше, чем в каком-либо другом чеховском произведении использованы университетские «мотивы» биографии писателя.

Знатоки истории отечественной медицины находят несомненное сходство между замечательным русским ученым, основоположником московской школы гистологов Александром Ивановичем Бабухиным и главным героем повести Николаем Степановичем, от лица которого ведутся записки. Е. Б. Меве

предпринял интересное исследование, показавшее совпадение не только фактов биографии, возраста, но и внешних данных и даже болезни героя и прототипа. По воспоминаниям современников, имя А. И. Бабухина для Москвы значило то же, что М. И. Сеченова – для Петербурга.

«Бабухин, – говорил Г. А. Захарьин, – это талант, сила, свет и красота нашего университета». Так же характеризовал Александра Ивановича другой выдающийся медик, его современник В. Ф. Снегирев: «Наука была его жизнью, и жизнь его была для науки, ни на одну минуту нельзя было его представить вне ее. Он любил ее, и она отвечала ему, и жизнь их была нераздельна».

Профессор Николай Степанович – тоже личность незаурядная. Имя его известно каждому грамотному человеку не только в России, но и за границей, а длинный список его друзей украшают такие имена, как Пирогов, Кавелин, Некрасов.

Дом на Садово-Кудринской в Москве

Семья Чеховых (во втором ряду второй слева – Антон Павлович)

Так же, как и А. И. Бабухин, Николай Степанович – материалист. Он не изменяет своим убеждениям даже перед лицом приближающейся смерти:

«К несчастию, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать – тридцать лет назад, так и теперь перед смертию меня интересует одна только наука.

Испуская последний вздох, – читаем мы признание этого чеховского персонажа, – я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя…»

Мотивы, побудившие А. П. Чехова написать «Скучную историю», конечно, значительно сложнее, чем желание воплотить в литературе образ А. И. Бабухина.

Профессор из повести А. П. Чехова – образ собирательный, точно так же, как и сама история, названная автором «скучной», что в какой-то степени созвучно с обыденной, т.

е распространенной историей. Профессору абсолютно безразлично все то, что выходит за рамки его специальности.

«В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое, – так профессор объясняет причину своего душевного разлада. – Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека».

А при отсутствии такой идеи, которая «выше и сильнее всех внешних влияний», достаточно потерять равновесие, чтобы все, в чем человек видел радость и смысл жизни, разлетелось в прах.

И хотя на имени Николая Степановича нет ни одного позорного пятна и пожаловаться ему, кажется, не на что, но на склоне дней своих крупный ученый понял, что жизнь, не освещенная великой целью, прожита напрасно. А его воспитанница, Катя, бросает ему в лицо жестокие слова:

«…Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка? А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний…»

Александр Иванович Бабухин не был «лишним» в этой жизни: он воспитал талантливых учеников и оставил после себя достойных наследников. Одним из многочисленных и благодарных учеников выдающегося педагога и ученого был доктор А. П. Чехов.

Но у Антона Павловича были и другие учителя.

«…Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших меня резать трупы и писать рецепты, – пишет он, как уже упоминалось, Григоровичу. – Вероятно придется пить и за Ваше здоровье, т. к. у нас не проходит ни одна годовщина без того, чтобы пьющие не помянули добром Тургенева, Толстого и Вас…»

Профессия у него была благородная

Весной 1884 г. Антон Павлович успешно выдержал выпускные государственные экзамены, которых так боялся. Свидетельство об утверждении Чехова в звании уездного врача подписано выдающимся русским хирургом Н. В. Склифосовским.

Давно ждал он этого момента. Чуть ли не за год просил Александра Павловича позаботиться о даче под Таганрогом: «… Врачом приеду и проживу с вами целое лето. Деньги будут, и поживем», – мечтал он.

Но дачу на родине почему-то не снял, а поехал отдыхать в Воскресенск (ныне г. Истра), где уже седьмой год в приходской школе учительствовал брат Иван, у которого обычно летом собиралась семья.

В двух верстах от Воскресенска находилась земская больница, возглавляемая доктором П. А. Архангельским.

Павел Арсентьевич Архангельский был учеником и сподвижником одного из основоположников русской земской медицины Е. А. Осипова.[35]

Земская медицина к моменту получения А. П. Чеховым лекарского паспорта насчитывала двадцатилетнюю историю. Так же, как и сама реформа о земельном самоуправлении, она возникла в результате преобразований, вызванных революционной ситуацией 1859–1861 гг.

Исчерпывающую характеристику этой реформы дал В. И. Ленин: «Земство – кусочек конституции. Пусть так. Но это именно такой кусочек, посредством которого русское „общество“ **отманивали** от конституции. Это – именно такая, сравнительно очень маловажная, позиция, которую самодержавие уступило растущему демократизму, чтобы сохранить за собой главные позиции, чтобы разделить и разъединить тех, кто требовал преобразований политических».[36]

Руководящие посты в земстве захватили дворяне – землевладельцы, бывшие крепостники. Их, естественно, мало заботило здоровье многомиллионных крестьянских масс. На том скудном пайке, на каком содержалась земская медицина, она легко могла умереть, едва появившись на свет, если бы ряды врачей не пополнились лучшими представителями русской разночинной интеллигенции. Они внесли в земское дело, как писал впоследствии выдающийся организатор советского здравоохранения З. П. Соловьев, «и неподдельную любовь, и искреннюю преданность, и горячую убежденность, и упорную энергию – все то, что служит залогом успеха в общественном

служении».

Одним из таких бескорыстных и самоотверженных земских врачей и был Павел Арсентьевич Архангельский. К нему в Чикинскую больницу на временную работу устроился новоиспеченный доктор А. П. Чехов. Они уже были знакомы – летом Антон Павлович здесь проходил студенческую практику – и, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, близко сошлись.

«Чикинская больница считалась поставленной образцово, – вспоминает младший брат писателя Михаил Павлович Чехов, – сам Павел Арсентьевич был очень общительным человеком, и около него всегда собиралась для практики медицинская молодежь, из которой многие потом сделались медицинскими светилами… Часто после многотрудного дня собирались у одинокого Архангельского, создавались вечеринки, на которых говорилось много либерального и обсуждались литературные новинки. Много говорили о Щедрине, Тургеневым зачитывались взапой. Пели хором народные песни, „Укажи мне такую обитель“, со смаком декламировали Некрасова…»

В обстановке скромной деревенской больницы Антон Павлович, естественно, не мог приобрести солидный клинический опыт. Но он получил здесь нечто большее: прошел главную врачебную школу – школу сострадательного отношения к больному и бескорыстного служения общественному благу. Этой школе он останется верен всю свою жизнь.

Особый интерес для нас представляет оценка работы молодого доктора, сделанная его опытным коллегой П. А. Архангельским:

«Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но все он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Он всегда терпеливо выслушивал больного, ни при какой усталости не возвышал голоса, хотя бы больной говорил и не относящееся к уяснению болезни. Ясно представляю стройную фигуру А. П., слегка наклонившегося и готовящегося при посредстве стетоскопа выслушать грудь едва переводившего дыхание больного. А. П. как бы замер в полусогнутой позе со стетоскопом в руке: он готовился приставить инструмент к груди больного и выслушать ее; но несчастный страдалец продолжал без умолку говорить и попеременно жаловаться то на боль в груди, то на остановку всех его дел по случаю болезни – на нескошенную полосу и т. п. А. П. остановил свой взор неподвижно на лице больного, как бы стараясь своими ласковыми глазами заглянуть поглубже или,

вернее, через них заглянуть своими духовными очами в то именно место, откуда исходили жалобы и стоны больного – в его наболевшую душу, дававшую, по-видимому, серьезные осложнения видимой болезни.

Вспоминаю также одну беседу А. П. с больной за соседним столиком в кабинете врача: «Да ты поехала бы к своим – к матери на недельку, на две, – говорил А. П., – там бы отдохнула, успокоилась бы…» – «Да не пустят… не верят, что больна», – слышится ответ больной. «Ну, на богомолье пошла бы… авось отпустят», – продолжал А. П. Душевное состояние больного всегда привлекало особое внимание А. П., и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды».

Одновременно с работой в Чикино А. П. Чехов принял на себя заведование земской больницей в Звенигороде. На этом посту он заменил врача С. П. Успенского – молодого человека из семинаристов, говорившего на «о» и ко всем обращавшегося на «ты».

Михаил Павлович приводит забавную сцену «сватовства» А. П. Чехова на эту должность.

«– Послушай, Антон Павлович, – обратился он (Успенский. – Б. Ш.) к писателю, – я, брат, поеду в отпуск, а заменить меня некем… Послужи, брат, ты за меня. Моя Пелагея будет тебя кормить. И гитара есть…

А. П. подумал, согласился и, взяв меня с собой, переехал в Звенигород…»

Это был хороший период в жизни Антона Павловича. «Живу с апломбом» – так в свойственной ему шутливой манере оценивает он в одном из писем свое настроение первых недель после окончания университетского курса. Главная проблема, одолевавшая его не один год, – чему же все-таки себя посвятить: врачебному делу или писательскому – была решена (во всяком случае – на время) в пользу медицины. Перед ним, как он сам говорил, открылась стезя Боткина и Захарьина. В руках твердая профессия, да и близкие не советуют менять «настоящее дело на бумагомарание», как позднее напишет он Д. В. Григоровичу.

Удивительно, что никто из чеховского окружения не разглядел в его ранних рассказах гениального художника. В этом смысле примечательно признание его друга писателя В. А. Гиляровского, что только «Каштанка» и «Степь» открыли ему глаза на истинное значение Чехова.

А. П. Чехов не собирается оставлять литературные занятия, но на протяжении последующих двух лет будет уделять им только досуг: несколько часов в день и кусочек ночи. «Медицина, –

замечает он, – не адвокатура: не будешь работать, застынешь».

Пока идут переговоры о штатном месте в одной из клиник Москвы или Петербурга, доктор Чехов работает в Чикино и Воскресенске. Принимает больных в амбулатории (до 30–40 человек в день), ездит на вызовы, а иногда участвует в судебно-медицинских вскрытиях трупов скоропостижно умерших. Процедура эта происходила большей частью на открытом воздухе в окружении любопытствующих баб и ребятишек.

«…Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия, бывшего в 10 верстах от Воскресенска, – пишет он Н. А. Лейкину. – Ездил на залихватской тройке купно с дряхлым, еле дышащим и за ветхостью никуда не годным судебным следователем, маленьким, седеньким и добрейшим существом, мечтающим уже 25 лет о месте члена суда. Вскрывал я вместе с судебным врачом на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной дороге…»

Столичные клинические больницы переполнены штатными и сверхштатными ординаторами, работающими бесплатно и подолгу ожидающими вакансии. Пробиться сразу в штатные врачи непросто, и хлопоты Чехова, вероятно, не очень настойчивые, не увенчались успехом.

Он решает попытать счастья на поприще городского частнопрактикующего врача.

Начал он свою частную практику с острых переживаний, когда, вернувшись домой от пациента, вдруг вспомнил, что в рецепте неправильно поставил запятую, увеличив дозу сильнодействующего препарата на целый порядок. Истратив свой первый гонорар на лихача, вместе с младшим братом он помчался через весь город к больному. К великой радости молодого доктора, в аптеку за лекарством еще не посылали.

Его письма первых лет после окончания курса университета полны изредка серьезной, а чаще шутливой информации о медицинской практике, которая, как он отмечает в разное время, то наклевывается помаленьку, то налаживается, то подвигается, однако, судя по всему, дохода не приносит.

«…Не так давно лечил одной барышне зуб, не вылечил и получил 5 руб.; лечил монаха от дизентерии, вылечил и получил 1 р.; лечу одну московскую актрису от катара желудка и получил 3 руб. Таковой успех на моем поприще привел меня в такой восторг, что все оные рубли я собрал воедино и отослал их в трактир Банникова, откуда получаю для своего стола водку, пиво и прочие медикаменты», – посмеивается Чехов.

В другом письме он шутит по поводу своей клиентуры: «… Лечу в аристократических домах… Например, сейчас я иду к

графине Келлер лечить… ее повара и к Воейковой – лечить горничную».

Зная его доброту и безотказность, к нему за медицинской помощью обращались нищенствующие журналисты и литераторы.

Что и говорить, клиентуру его нельзя назвать состоятельной, и А. П. Чехов нередко отказывается от положенного ему гонорара.

Рассказывают, что однажды, когда он не взял плату за лечение, благодарная пациентка подарила на память дорогому доктору чернильницу с бронзовой статуэткой. Эпизод этот мог подсказать ему тему юморески о бронзовом канделябре («Произведение искусства»).

То и дело к нему за помощью обращаются родственники, друзья и знакомые. «Иметь у себя в доме врача – большое удобство», – иронизирует по этому поводу Антон Павлович.

Но это не больше чем шутка.

В. А. Гиляровский вспоминает, как однажды он заболел рожей, сын – скарлатиной, а нянька – сыпным тифом. Лечил их всех друг Гиляровского А. И. Владимиров, только что окончивший университет. Случайно забежал Антон Павлович. «…Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним, осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Влалимиров, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто – уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно…»

В летние месяцы, когда Чехов выезжает на дачу, он снова работает в Чикино или подменяет в Звенигороде своего товарища – земского врача С. П. Успенского.

«Был занят по горло», – объясняет он Н. А. Лейкину[37] причину задержки обещанного рассказа. Ему же сообщает, что принял за лето несколько сот больных, а заработал всего один рубль.

Писать Антону Павловичу в этот период приходится с перерывами, а такое писание (Чехов применяет здесь интересное медицинское сравнение) – «то же самое, что пульс с перебоями».

Об ответственности, с какой Антон Павлович относился к своим врачебным обязанностям, свидетельствует его письмо издателю «Нового времени» А. С. Суворину, предложившему молодому литератору сотрудничать в столичной газете: «…Я врач и занимаюсь медициной… Не могу я ручаться за то, что завтра меня не оторвут на целый день от стола… Тут риск не написать к

сроку и опоздать постоянный…»

И даже в известном письме к одному из старейших русских писателей Д. В. Григоровичу (который оказался проницательнее многих и сумел разглядеть в Чехове настоящий талант, выдвигающий его «далеко из круга литераторов нового поколения») Антон Павлович напишет, что он «врач и по уши втянулся в свою медицину».

Однако обласканный и одобренный Д. В. Григоровичем, Чехов все больше и больше будет уделять времени и душевных сил литературному творчеству, поняв, что оно является его истинным призванием.

А с медициной он поступит, как в свое время с литературой, выделив для врачебной практики несколько часов в день.

Стетоскоп и докторский молоточек – эти простейшие диагностические инструменты, которые и сегодня не сняты с личного вооружения врача, можно увидеть в Доме-музее Антона Павловича рядом с его чернильным прибором. Это – не только экспонаты, символизирующие медицинскую профессию писателя. По свидетельству его сестры Марии Павловны, они всегда лежали на письменном столе Чехова и нередко использовались им по назначению.

А. П. Чехов, подчеркивает большинство его биографов, не сменил одну профессию на другую, как это сделали, например, его великие коллеги-предшественники: профессор медицины в Монпелье Франсуа Рабле и полковой немецкий врач Фридрих Шиллер. Антон Павлович до последних дней своей жизни сохранил тесную связь с врачебной своей профессией.

Летом 1887 г. он снова практикует в Воскресенске, а в последующие два летних сезона – в Сумах под Харьковом, где снимает на берегу Пела флигель в старой барской усадьбе Линтваревых. Среди веселых псевдонимов, которые он в это время себе придумывал, есть и такой: «Полтавский помещик, врач и литератор Антуан Шпонька».

Сестры Линтваревы, как и Чехов, – врачи. Старшая тяжело болеет, и Антон Павлович помогает младшей принимать больных на фельдшерском пункте.

Елена Михайловна Линтварева – тихая, застенчивая женщина, бесконечно добрая и чрезвычайно осторожная с больными. Ей постоянно видятся плохие прогнозы, а в назначении лекарств она нерешительна и прописывает их в гомеопатических дозах.

На консилиумах, устраиваемых двумя молодыми специалистами, они часто спорят. «…Я являюсь благовестником там, где она видит смерть, и удваиваю те дозы, которые она

дает…» – отмечает Антон Павлович в одном из писем.

По-видимому, он был «благовестником» не только на этих консилиумах. В 1901 г. он предсказал Сергею Львовичу Толстому благоприятный исход болезни его отца, когда, пожалуй, мало кто верил в это, и не ошибся. Он вселил в больного В. Г. Короленко уверенность, что тот поправится, и оказался прав.

Чехов, которого называли «неисправимым пессимистом», «поэтом мелодии печали» и т. п., на самом деле предчувствовал историческую неизбежность коренного обновления мира. Это он, стоя на пустынном берегу могучего Енисея, предрекал, что «придет время, когда полная, умная и смелая жизнь осветит… эти берега».

Его уничтожающая критика носит созидательный характер, так как направлена на утверждение высокого призвания человека. А. М. Горький говорил, что бодрое и обнадеживающее пробивается у Чехова «сквозь кромешный ужас жизни».

Рассказы, пьесы его и миниатюры полны «неизъяснимых предчувствий» грядущего счастья, в которое так искренне верит нищий и неустроенный в жизни Петя Трофимов из «Вишневого сада»: «…Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!». Любимые чеховские герои умели возвышенно и прекрасно говорить о жизни будущих поколений.

Пик медицинской деятельности Антона Павловича приходится на мелиховский период его жизни (девяностые годы прошлого столетия) – в то же время один из наиболее значительных и плодотворных в творческой биографии писателя.

Как это объяснить?

Еще за несколько месяцев до переезда в Мелихово А. П. Чехов делился с Сувориным сокровенными мыслями. «…Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа… Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек…»

В Мелихове он получил все это с избытком.

Избранный земским гласным, Чехов активно участвует в работе земского собрания, уделяя особое внимание народному здравоохранению и просвещению. Он вникает во все вопросы строительства на селе. Это ему обязано местное население проведением шоссейной дороги от станции Лопасня до Мелихова. Раньше дорога была в отвратительном состоянии и совершенно непроезжая в распутицу. На свои деньги он строит школы в Талеже, Новоселках и Мелихове. Антон Павлович сам составляет для них проекты, заключает подряды, покупает строительные

материалы, мебель, наглядные пособия.

Существенную часть его общественной жизни составляло врачебная работа.

Профессия врача завоевала ему сердца крестьян, а без этого мы не узнали бы ни «Моей жизни», ни «Мужиков», ни «В овраге».

За несколько дней до переезда в Мелихово Антон Павлович писал Суворину: «…Я купил целый воз лекарств. Хочу купить микроскоп и займусь медицинской микроскопией. Вообще, займусь медициной самым основательным образом…»

Свое знакомство с мелиховскими крестьянами, когда к нему явились ходоки, Антон Павлович начал с просьбы, чтобы не звали его барином. «Я не барин, я доктор. Лечить вас буду», – записал со слов крестьян – современников Чехова – директор мелиховского музея Ю. К. Авдеев.

Любопытно, что в документах о приобретении имения у дворянина Н. П. Сорохтина А. П. Чехов выступает не как профессиональный писатель, пользующийся большой известностью в России, а как доктор, и под договором стоит подпись: «Врач А. П. Чехов».

С первых же дней жизни в усадьбе Антон Павлович развернул бурную медицинскую практику.

Его непременной помощницей – и медицинской сестрой, и ассистентом во время несложных операций, и провизором домашней аптеки – была Мария Павловна, которая потом как очевидец и участник событий расскажет биографам А. П. Чехова о частых выездах за много верст к тяжелобольным, о бесплатном лечении, о регулярных утренних приемах. Усадьба превратилась в амбулаторию, куда пациенты стекались не только из Мелихова, но и из окрестных деревень. Отсылать их за десятки верст в уездный город было невозможно, и приходилось помогать на месте, выступая то в роли терапевта, то – хирурга, то – детского врача.

Все это, естественно, утомляло писателя и отрывало его от главных дел. Однако, как вспоминала Мария Павловна, он никогда никому не отказал в помощи, и не было случая, чтобы он высказал вслух сожаление по поводу этой добровольной нагрузки.

Определяя «врачебный профиль» Антона Павловича, профессор хирургии М. С. Рабинович писал, что он был идеальным земским врачом, потому что прекрасно сочетал в одном лице врача-лечебника, санитарного врача и организатора здравоохранения. (Читая эту брошюру, написанную моим коллегой во время Великой Отечественной войны и изданную в Омске на газетной бумаге тиражом всего 200 экземпляров, я

подумал, что надо было очень любить писателя, чтобы в такое трудное время работать над темой «Чехов и медицина», урывая минуты от своего и без того краткого отдыха.)

Медицина способствовала налаживанию добрых отношений Чехова с крестьянами.

«…Мужиков и лавочников я уже забрал в свои руки, победил, – с гордостью отметил Антон Павлович в мае 1882 г., – у одного кровь пошла горлом, другой руку деревом ушиб, у третьего девочка заболела… Оказалось, что без меня хоть в петлю полезай. Кланяются мне почтительно, как немцы пастору, а я с ними ласков – и все идет хорошо».

Чехов отстаивает интересы крестьян в земстве. Только благодаря его вмешательству было запрещено строительство кожевенного предприятия на речке Люторке, откуда окрестное население брало воду. Проводя санитарные осмотры фабрик мелиховского участка, А. П. Чехов в своих отчетах обращал внимание земства на тупое и упорное сопротивление «необразованных фабрикантов» обязательным медицинским постановлениям.

И потому, что «санитарное состояние фабрик находится в прямой зависимости от умственного развития фабрикантов, надзору придется еще очень долго ждать осмысленного и не вынужденного содействия со стороны последних…»

О губительном влиянии фабричных предприятий на окружающую природу и здоровье человека Чехов расскажет в повести «В овраге». Описание села Уклеева, по меткому выражению Ю. К. Авдеева, похоже на санитарный отчет земству:

«…В нем (селе. – Б. Ш.) не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики – три ситцевых и одна кожевенная – находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц…»

Коллега Чехова доктор П. И. Куркин, прочитав повесть, безошибочно угадал в этом описании колорит и уклад жизни села Крюкова, в котором он по поручению серпуховского земства вместе с Антоном Павловичем обследовал санитарное состояние

местной кожевенной фабрики.

Любопытно отметить, что повесть «В овраге» была опубликована в том же номере журнала «Жизнь» (№ 1 за 1900 год), в котором была напечатана статья В. И. Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве». И хотя совпадение это, по-видимому, случайное, повесть Чехова о фабричном селе оказалась созвучной положениям ленинской статьи о характере социально-экономических отношений в русской деревне на рубеже двадцатого столетия.

Об отношении мелиховских крестьян к Чехову-врачу свидетельствуют современники писателя.

«Приблизительно за год до того, как я познакомилась с семьей Чеховых, я направилась навестить мою бывшую кормилицу, жившую в деревне близ станции Лопасня, – вспоминает Т. Л. Щелкина-Куперник. – Она оказалась больна, как тогда говорили, чахоткою. Я очень встревожилась и стала допрашивать, есть ли там доктор, есть ли у него лекарства, и она ответила мне: „Не бойся, родимая, дохтур у нас тут такой, что и в Москве не сыщешь лучше. Верст за шесть живет. Антон Павлович. Уж такой желанный, такой желанный – он и лекарства мне все сам дает“.

Только позднее, познакомившись с Чеховым и попав в Мелихово, я поняла, кто был этот «желанный» Антон Павлович…»

Любопытные высказывания зажиточного крестьянина о Чехове оставил писатель Н. Д. Телешов:

«– …Чудак-человек!.. Бестолковый!.. Ну, скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил лечить – вылечил. Потом я захворал – меня лечил. Даю денег, а он не берет. Говорю: „Антон Павлыч, милый, что же ты делаешь? Чем жить-то будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь, чем тебе жить-то?“ Говорю: „Подумай о себе: куда ты пойдешь, если, не ровен час, от службы тебе откажут?… Куда денешься с пустыми-то руками?…“ Смеется и больше ничего.

«Если, – говорит, – меня с места прогонят, я тогда возьму и женюсь на купчихе». – «Да кто, – говорю, – за тебя пойдет, если ты без места окажешься?» Опять смеется, точно не про него разговор.

Старик рассказывал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искренне уважает своего «бестолкового» доктора, только не одобряет его поведения…»

О том, что эти воспоминания правдиво, без прикрас отражают мнение населения о своем земском враче, можно найти подтверждение в одном из писем самого Антона Павловича:

«…Ходил в деревню к чернобородому мужику с воспалением легкого. Возвращался полем. По деревне я прохожу не часто, и

бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку…»

Застенчивый и скромный в оценке собственной личности, он и здесь не удержался от шутки, сравнив себя с юродивым.

Шарль Дю Бос,[38] как свидетельствует А. Моруа, расставляя книги по принципу единства мышления писателей, говорил: «Чтобы правильно определить положение Чехова, нужно найти термин равнозначный мудрецу и святому».

Желание служить доброму делу было у Чехова желанием души, самым естественным его желанием, условием его личного счастья – и непосредственным образом проявлялось в его медицинской деятельности.

1892 г. – год приобретения А. П. Чеховым мелиховской усадьбы совпал со страшной эпидемией холеры, распространявшейся с юга на Центральную Россию.

Казалось, сама судьба посылала Серпуховской земской управе, так бедной врачебными кадрами (на врача приходилось около 20 тысяч населения!), еще одного доктора, который к тому же наотрез отказался от компенсации за работу.

Сохранилось письмо председателя земской управы, подтверждающее, что А. П. Чехов добровольно принял на себя обязанности санитарного врача:

«М. Г. Антон Павлович!

Кн. С. И. Шаховской довел до сведения Серпуховского Санитарного Совета письмо ваше, выражающее готовность послужить земству в случае появления холерной эпидемии в Серпуховском уезде. Выслушав это желание Ваше прийти на помощь в трудную минуту борьбы с страшной угрожающей нам опасностью, Серпуховский Санитарный Совет просил меня выразить Вам за такое столь ценное для нас предложение искреннюю и глубокую благодарность…»

Поскольку в этот период Антон Павлович вынужден был прекратить всякую литературную деятельность, то наряду с эпидемией холеры ожидал у себя в Мелихове, как он выражался, и другую эпидемическую болезнь – безденежье.

«…От содержания я отказался, дабы сохранить себе хоть маленькую свободу действий», – объяснял он А. С. Суворину.

Однако о какой «свободе действий» может идти речь, если он считает себя мобилизованным, уехать никуда не может, не имеет ни времени, ни сил сесть за письменный стол и в полной мере (даже сверх того) исполняет все функции участкового врача?

Надо полагать (и так считает большинство биографов Чехова), что он отказался от материального содержания лишь

потому, что рассматривал свою врачебную работу как работу общественную, как тот маленький «кусочек политической и общественной жизни», об отсутствии которой он сожалел несколько месяцев назад.

Холера приближается к Московской губернии, и Антон Павлович «на всех парах» организует медицинское обеспечение своего участка, в состав которого входит 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь.

Создавать приходится на голом месте и при отсутствии каких-либо средств.

С горькой иронией он восхищается своими способностями: «Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных…» Он доволен, что не потратил ни единого земского гроша: «Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень…»

В трудах двенадцатого (экстренного) губернского съезда Московского земства, проходившего в марте 1893 г. и в значительной степени посвященного вопросам борьбы с холерой, можно найти такую информацию: «…На фабрике Толоконниковых в с. Угрюмове, Бавыкинской волости, строится сейчас бревенчатый барак на 8 коек, а в зимнее время было отведено фабрикантом помещение и устроено обзаведение на одну койку. В этом помещении с осени 1892 тоже был открыт еженедельный (по средам) амбулаторный прием для трех фабрик, находящихся в этом селе и состоящих в присоединении к Серпуховскому земству. Эту амбулаторию взял на себя вести врач А. П. Чехов, живущий вблизи, в своем имении в с. Мелихове, Бавыкинской волости. Он же заведовал безвозмездно Мелиховским временно открывавшимся врачебным пунктом, в район которого входило 20 селений…» Готовясь к схватке с холерой, Антон Павлович изучает историю предыдущих эпидемий в Серпуховском уезде.

«…В 1848 г. в моем участке была холера жестокая; рассчитываем, что и теперь она будет не слабее…» – сообщает он Н. А. Лейкину.

В эпидемию, о которой упоминает А. П. Чехов, из 377 деревень Серпуховского уезда очаги инфекции вспыхнули почти в 300 селениях и унесли более 4000 жизней.

«…Мы, уездные лекаря, приготовились, – записывает Антон Павлович, когда были проведены основные противоэпидемические мероприятия, – программа действий у нас

определенная, и есть основания думать, что в своих районах мы понизим процент смертности от холеры. Помощников у нас нет, придется быть и врачом и санитарным служителем в одно и то же время; мужики грубы, нечистоплотны, недоверчивы; но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает все это почти незаметным…»

Стоит сравнить это письмо с размышлениями Ольги в финале «Мужиков» («…Они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут несогласно… Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут как люди…»), чтобы убедиться, что эта его повесть – одна из самых беспощадно-правдивых и сильных в творчестве Антона Павловича, не только густо настоена на жизненном опыте земского врача Чехова, но и выстрадана им.

А. П. Чехов не ошибся: бескорыстный и упорный труд земских врачей принес ожидаемые результаты. В эпидемию 1892 г. в Серпуховском уезде было зарегистрировано всего 14 случаев заболевания с четырьмя смертельными исходами, а очаги инфекции были быстро локализованы. И произошло это не потому, что холера стала менее жестокой, а благодаря той огромной работе, которую проделали земские врачи Серпуховского уезда, включая доктора А. П. Чехова.

«…В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать и сознать и оценить все, что делается…» – писал он на курорт в Биарриц сбежавшему от холеры А. С. Суворину.

Когда эпидемия холеры отступит и Антон Павлович сложит с себя официальные полномочия участкового врача, он с удовольствием будет вспоминать прошедшее лето.

Несмотря на неимоверные затраты сил, на отсутствие помощников, на разбитые дороги, на плохих лошадей и экипаж, нездоровье и безденежье, он напишет: «…Ни одно лето не проводил так хорошо, как это… Мне нравилось и хотелось жить… Завелись новые знакомства и новые отношения. Прежние наши страхи перед мужиками кажутся теперь нелепостью. Служил я в земстве, заседал в Санитарном совете, ездил по фабрикам – и это мне нравилось. Меня уже считают своим…»

Своим его считают в первую очередь врачи и окрестные крестьяне.

Бок о бок с Антоном Павловичем в Белопесоцкой волости того же Серпуховского уезда воюет с холерой его старая знакомая, «уважаемая товарищ» Елена Михайловна Линтварева.

Руководит земской медициной в Серпуховском уезде его

коллега еще по Чикинской больнице, самый талантливый ученик Е. А. Осипова – П. И. Куркин,[39] дружеские отношения с которым у Антона Павловича сохранятся на всю жизнь.

Он тесно сойдется и с другими врачами – И. И. Орловым, Д. Н. Жбанковым, И. Г. Витте, Н. И. Невским, В. А. Павловской, с директором губернской земской психиатрической больницы, расположенной в 17 верстах от Мелихова, доктором В. И. Яковенко и другими.

«…Земцы здесь интеллигентны, товарищи дельные и знающие люди…» – скажет он о них. И это в его устах самая высокая оценка.

«…Поразительно вспомнить, – писал П. И. Куркин, – до какой степени серьезно и интимно вошел Антон Павлович в профессиональные интересы практического общественного работника, каким является у нас участковый врач…»

Говоря это, Петр Иванович упускает из виду, что Чехов был подготовлен к подобной работе еще с тех пор, когда впервые в Чикинской больнице у П. А. Архангельского надел на себя красную рубаху земского врача. (В одном из писем 1885 г. Антон Павлович просит своего товарища И. Г. Розанова привезти забытую им в Звенигородской больнице красную рубаху.)

Цвет рубахи имеет символическое значение. Недаром в его раннем рассказе «Не судьба!» несостоявшийся председатель земской управы, помещик и махровый реакционер Шилохвостое прямо заявляет: «…Чуть замечу, что который из учителей пьяница и социалист – айда, брат! Чтоб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить!..»

Дело, конечно, не в рубахе, а в том, что деятельность земских врачей, провозгласивших принцип бесплатной медицинской помощи многомиллионному крестьянскому населению России, вошла в противоречие с существующим частнособственническим строем. Недаром министр внутренних дел В. К. Плеве назвал земских служащих «микробами общественного скандала».

На следующий год снова пришлось предпринять исключительные меры, чтобы погасить новую эпидемию холеры, и снова доктор А. П. Чехов, по словам П. И. Куркина, «встал под ружье». «…Лето в общем было не веселое… Я опять участковый врач и опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, посещаю пункты и разъезжаю по злачным местам…»

Больных, как и прошлым летом, через руки Антона Павловича прошло более тысячи, и он нередко даже не успевает заводить на них карточки.

Рабочие отчеты земского врача, опубликованные в 16-м томе, являются правомочной составной частью собрания сочинений

писателя. Некоторые подробности отчетов потом можно встретить в художественных произведениях А. П. Чехова. Так, например, сторожа Никиту из «Палаты № 6» Антон Павлович поместил в сени на груду больничного хлама, подобно тому, где проводил время школьный сторож из отчета 1892 г.: «…в маленьких сенях спит на лохмотьях сторож и тут же стоит чан с водой для учеников…»

В медицинском отчете, направленном земству, он чересчур самокритично укажет, что амбулаторным больным уделял внимания недостаточно из-за частых разъездов по участку и «собственных занятий, от которых… не мог отказаться».

«Собственные занятия» – литературный труд, который он не оставляет и в эти напряженные дни.

Кстати, докладывая санитарному начальству об особенностях медицинского обслуживания на его участке, Антон Павлович укажет только на те трудности, которые испытывают больные, а не он, доктор: «…В половодье и осенью в бездорожье все пункты моего участка, за исключением двух-трех, бывают совершенно или почти отрезаны от больниц, а фабрики моего участка, присоединившиеся к земской медицинской организации, за дальностью расстояния пользуются медицинской помощью далеко не в том размере, на какой они по праву могли бы рассчитывать…»

«…Бывают дни, – писал он Суворину, – когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина. И бабы с младенцами одолели».

В письмах этой поры нередко слышится раздражение, усталость, а иногда – просто крик отчаяния: «…Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры…»

Антон Павлович и Николай Павлович (1881–1882)

Однако на основании подобных высказываний Антона Павловича делать вывод, что он разочарован в медицине и практической работе, по меньшей мере несправедливо. Через два месяца он напишет тому же адресату: «Летом трудно жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это».

Замечательный доктор Астров, которого трудно обвинить в нелюбви к больным или к своей профессии, откровенно раскрывает перед старой нянькой понятные любому человеку и вполне оправданные переживания: «…От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня не было свободного…»

Правда, в свое время (1905 г.) Г. П. Задера в серии статей обрушился на чеховских врачей, в том числе на доктора Астрова, именно за это признание, в пылу полемики расценив эти слова как отказ врача оказывать помощь нуждающимся.

По-видимому, было бы противоестественно, если бы

неожиданный вызов к больному, да еще по дальней дороге в непогоду и ночью воспринимался врачом как приглашение к легкой и приятной прогулке.

Занимаясь медицинской деятельностью. Антон Павлович вел обычную жизнь врача-труженика, врача-подвижника. Сколько раз, когда он, не чувствуя страха, «ловил за хвост холеру» или спешил на вызов к ребенку, больному дифтерией, или считал пульс у тифозного больного – сколько раз он рисковал собственной жизнью, совершенно не думая о себе?

Это сказано не ради красного словца. В. В. Вересаев в «Записках врача» приводит страшные статистические данные: от заразных болезней умирало около шестидесяти процентов земских врачей; в 1892 году половина всех умерших земских врачей погибла от сыпного тифа.

Чехов не только рисковал собственной жизнью, но и сокращал ее, потому что нес эту неимоверную нагрузку тяжело больной человек, которому самому требовались покой и лечение.

Верил он в медицину твердо и крепко…

Чехов любил свою медицину, дорожил и гордился званием врача. По свидетельству многих его современников, он близко к сердцу принимал сомнения в его врачебных достоинствах:

«…Когда-нибудь убедятся, что я, ей-богу, хороший медик», – заметил он в беседе с братом одного из основателей Московского Художественного театра, писателем Василием Ивановичем Немировичем-Данченко. И это при той исключительной скромности, которая отличала Чехова!

«Ты думаешь, я плохой доктор? – спрашивает он у В. А. Гиляровского и в свойственной ему манере заканчивает иронически: – Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит, я доктор. Во „Всей Москве“ (справочном издании того времени. – Б. Ш.) напечатано: „Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Пешкова. Практикующий врач“. Так и написано: не писатель, а врач…»

В другой раз, обиженный отказом писательницы Л. А. Авиловой выполнить какую-то его просьбу, он пригрозил полушутливо, полусердито: «Даже если заболеете, не приеду… Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого. Вам не по средствам…».

Вызванное резким ухудшением здоровья в 1897 г. прекращение регулярной медицинской практики было для него, как он признавался, крупным лишением.

Однако и после этого он не переставал чувствовать себя врачом, щедро раздавая своим друзьям и знакомым медицинские советы.

«…Зачем Вы все болеете? Отчего не полечитесь серьезно? – спрашивает он актрису Веру Федоровну Комиссаржевскую. – Ведь болезни, особенно женские, портят настроение, портят жизнь, мешают работать. Я ведь доктор, я знаю, что это за штуки…»

Нередко даже серьезные медицинские советы он смягчает своим добрым, грустноватым юмором.

«Если Вы серьезно больны, то должны серьезно и лечиться. Бросили ли Вы курить? Вам нельзя ни курить, ни пить, – отвечает он Лике Мизиновой. – Ни табаку, ни вина, ни даже квасу – ни-ни! Остерегаться холодного и сырого воздуха: всегда держать грудь в тепле, хотя бы в кофте толщиною с одеяло. Есть возможно больше; самое лучшее – побольше сливок. Утром, в обед, в вечерний чай и в ужин – сливки и сливки. Пить не залпом, а глоточками – это и здорово, и грациозно. Жареное мясо предпочитать вареному, сухой хлеб мягкому. Овсянка, манная

каша и кисели – все это хорошо. Перед едой принимать какую-нибудь горечь: гофманский эликсир… или хинную тинктуру по 15 капель. Если желудок хорош и если купаться нельзя, то принимайте для укрепления своих дамских нервов бромистый калий и мышьяк. Кровать поставьте посреди комнаты. Во время прогулок возвышенные места предпочитайте низменным. Поменьше разговаривайте и, когда беседуете с бабушкой или Левитаном, не кричите. В письмах добрых знакомых не называйте идиотами…»

По многу месяцев лечась в Ялте от туберкулеза, он подсказывает своим петербургским и московским коллегам, плохо знающим крымские условия, когда туда следует направлять туберкулезных больных.

В декабре 1898 г. во многих городах России отмечалось столетие Военно-медицинской академии. В эти дни в Ялту пришло письмо, свидетельствующее о необычайной популярности имени Чехова среди врачей: «Многоуважаемый Антон Павлович! Врачи города Севастополя – морские, военные и гражданские, желая достойным образом отпраздновать столетний юбилей Военно-медицинской академии, постановили 18 декабря устроить юржественное заседание и литературно-музыкальный вечер в пользу приюта имени С. П. Боткина и обращаемся к Вам как к бывшему питомцу академии с просьбой принять личное участие в торжественном заседании, товарищеском завтраке и в литературно-музыкальном вечере.

Ваше присутствие, товарищ, в качестве гостя среди нас будет для нас в высочайшей степени отрадно и радостно, а Ваше участие в литературном вечере, бесспорно, обеспечит успех доброго дела.

Общество выражает надежду видеть Вас у себя и покорнейше просит не отказать…»

Причисление А. П. Чехова к числу выпускников Военно-медицинской академии было ошибочным. Но ошибка эта вряд ли обидела Антона Павловича, потому что академия в ту пору считалась лучшим учебным заведением России.

Отозвался ли писатель на приглашение – неизвестно (помешать поездке могла болезнь, которая все больше ограничивала свободу передвижения).

Юбилей вылился в праздник передовой медицинской науки. На имя начальника академии известного патофизиолога профессора В. В. Пашутина было прислано более 500 поздравительных адресов, писем, телеграмм. Пришло поздравление и из Ялты: «В день столетия академии, в этот праздник истинной науки, истинной любви, самоотверженного

служения русскому народу, приветствую от всей души уважаемых профессоров, товарищей врачей и студентов. Шлю лучшие пожелания. Антон Чехов».

80 лет назад телеграмма Чехова была опубликована в Юбилейном сборнике академии и с тех пор «затерялась» среди огромной массы поздравительных документов. Совсем недавно ее разыскал любитель и знаток творчества Чехова врач О. Н. Домбровский. Телеграмма эта является еще одним подтверждением того, что тяжело больной писатель не терял интереса к развитию медицинской мысли и остро чувствовал свою принадлежность к большой армии передовых русских врачей.

Однажды, когда М. Горький предложил Антону Павловичу поехать с ним в Китай корреспондентом освещать ход боксерского восстания, Чехов ответил, что, если война затянется, он поедет, но только не в качестве журналиста и писателя, а врачом, военным врачом.

В его переписке несколько раз встречается упоминание о возможной войне, и каждый раз Чехов заявляет, что если она состоится, то поедет не сражаться, а лечить.

Когда Петербургская академия наук избрала его почетным членом, он написал жене Ольге Леонардовне Книппер, актрисе МХТ: «…Хотел я сначала сделать тебя женою почетного академика, но потом решил, что быть женою лекаря куда приятнее…»

Даже за четыре месяца до смерти прикованный к постели писатель не перестает напоминать, что он был и остается врачом.

«…Как я тебе уже говорил, я врач, я друг Женских медицинских курсов. Когда был объявлен „Вишневый сад“, то курсистки обратились ко мне с просьбой как к врачу – устроить для их вспомогательного общества один спектакль: бедность у них страшная, масса уволенных за невзнос платы и проч. и проч.», – пишет он О. Л. Книппер-Чеховой.

Врач «выглядывает» из многих его рассказов и очерков, даже не имеющих никакого отношения к медицинской тематике. Увидеть врача часто помогает отношение к предметам, к их сущности, нередко выраженной точным сравнением, почерпнутым из врачебного опыта.

Так, в путевом очерке «Из Сибири» он остроумно сравнивает первоклассного кузнеца, осматривающего сломанный тарантас, с хорошим врачом-практиком, которому скучно лечить неинтересную болезнь. О тунеядце, живущем за счет женщины, он говорит, что это был «нарост вроде саркомы, который истощал ее совершенно».

Даже кляксы у него на бумаге – вовсе не кляксы, а следы коховских запятых, микрококков и другой нечисти, свивших гнездо в его чернильнице. И еще – сказать о самых близких людях, что они ему дороги, как больные, которых он вылечил, мог только настоящий врач.

А. И. Куприн, близко знавший Антона Павловича, часто встречавшийся с ним в последние годы его жизни, в статье, посвященной памяти своего учителя и старшего друга, писал:

«…Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте…»

То же самое и почти теми же словами писали о Чехове и профессор Г. И. Россолимо, и земский врач П. И. Куркин, и профессор-юрист М. М. Ковалевский, и многие другие.

Однако не все согласны с этим очевидным и логичным мнением. Так, например, его оспаривает В. В. Хижняков, выпустивший в 1947 г. работу «Антон Павлович Чехов как врач».

Хижняков берет под сомнение достоверность высказываний Александра Ивановича Куприна, ссылаясь на воспоминания врача И. Н. Альтшуллера, постоянно лечившего Чехова в Ялте.

Альтшуллер указывает, что только в первый год пребывания в Ялте были у Чехова отдельные случаи медицинской практики и что один только раз он принимал участие в консилиуме у постели больного.

Но И. Н. Альтшуллер написал свои воспоминания в 1914 г. и мог кое-что позабыть, тогда как очерк Куприна был опубликован в 1905 г. При этом Куприн-литератор «изучал» Чехова, если можно так выразиться, и находился в более выгодном положении: перед Альтшуллером Антон Павлович выступал в роли беспомощного и послушного пациента, но никак не врача. Тем более что он очень высоко ставил медицинские способности своего доктора, считая, что спасение жизни Л. Н. Толстого, когда тот болел пневмонией, в значительной степени – заслуга лечивших его врачей: москвича Щуровского и ялтинца Альтшуллера.

Чехов постоянно следил за новейшей медицинской литературой и, самое главное, обладал проницательным взглядом всевидящего художника.

«…Он видел и слышал в человеке – в его лице, голосе и походке – то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя, – так объясняет секреты врачебного искусства Чехова А. И. Куприн. – Верил он в

медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть эту веру. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя „Доктор Паскаль“.

– Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, – сказал он, волнуясь и покашливая. – Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа…»

В цепкости купринской памяти сомневаться не приходится, потому что аналогичное высказывание Антона Павловича о романе Э. Золя можно найти в его письме А. С. Суворину, опубликованном значительно позже очерка А. И. Куприна.

Чехов знал медицинский мир, как говорится, из первых рук. По глубоко виноватому виду и поведению Елены Михайловны Линтваревой, когда она на медицинском пункте беседует с молодой крестьянкой, страдающей неизлечимой злокачественной опухолью, он словно читает, что творится в этот момент в душе доктора.

Он и сам тяжело переживает подобные ситуации. Два года назад у него на глазах умерли от тифа мать и сестра знакомого художника. Антон Павлович, безвылазно просидевший около их постели несколько суток, в отчаянии, вернувшись домой, сорвал с двери врачебную вывеску – решил отказаться от практики.

Табличку после этого случая он так и не повесил, однако приема больных не прекратил.

«…У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого, – не только по наблюдениям, но и на основании собственного опыта через несколько лет напишет он Суворину и еще раз повторит: – …Те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, и за сие, говоря по совести, многое простить должно…»

Тяжела ответственность врача за судьбу доверившегося ему пациента. За малейшую ошибку или оплошность он казнит себя и умирает с каждым больным, которого не смог поставить на ноги.

Важность миссии врача выделяет эту профессию из всех существующих на земле. Вот какие высокие требования предъявляет А. П. Чехов к человеку, посвятившему себя медицине: «Профессия врача – это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоты помыслов.

Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».

Это его высказывание удивительным образом перекликается со словами выдающегося врача древности Гиппократа: «Врач-философ равен богу. Да и немного, в самом деле, различия между мудростью и медициной, и все, что ищется для мудрости, все это

есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что необходимо для жизни…»

В свое время А. П. Чехова нередко обвиняли в холодности, бесстрастности, не понимая, что эта кажущаяся отстраненность автора от своих героев – всего лишь прием, благодаря которому особенно остро воспринимается тончайшее движение души. Я полагаю, что этот литературный прием, которым он владел в совершенстве, ведет свою родословную от врачебного опыта, когда переживания за судьбу больного скрываются в подтексте, а на поверхности – трезвость мыслей, ясность суждений и четкость действий.

Антон Павлович был тесно связан с многими врачами не только общим делом и службой в земстве, но и личным общением, перепиской. Среди его адресатов можно насчитать около 100 человек медицинской профессии, а сколько врачей писало Чехову, откликаясь на его рассказы и пьесы, сколько их обращалось к нему за советом и помощью!

Чехову хорошо было знакомо положение, в котором находились земские врачи «глухих углов России». Друг его юности Д. Т. Савельев, с которым Антон Павлович регулярно переписывался, откровенно информирует его о своем житье-бытье: «…отсутствие товарищества и вообще какого-либо интеллигентного общества доводит до совершенного отчаяния» В другой раз он жалуется:

«Весь мой кругозор здесь – больница и моя убогая квартира…». Через некоторое время – снова крик души: «Я несу, вернее, должен нести несколько обязанностей: обязанности земского врача, уездного и городского. Содержание одного земского врача уходит целиком на разъезды, а за два остальных я совсем до сих пор ничего не получаю… Три месяца леня буквально разрывают на части, и это при существовании „с хлеба на квас“…Словом, годы такой деятельности я не выдержу: или сойду с ума или повешусь».

Заметим, что жизнь доктора Д. Т. Савельева закончилась типично для земского врача: он умер от сыпного тифа, заразившись во время эпидемии.

Антон Павлович органически не выносил необоснованных нападок на врачей и не спускал их даже своему кумиру – Л. Н. Толстому, о котором говорил, что ни одного человека на земле не любит, как его, и что без Толстого у него в жизни образовалось бы «большое пустое место».

В необычном для Чехова сердитом тоне он выговаривает

писательнице Е. М. Шавровой, в рассказе которой врачи не соблюдают элементарных профессиональных правил: разглашают врачебную тайну и бездушно относятся к парализованному больному.

В другой раз этой же писательнице досталось от Антона Павловича за поклеп на врачей-гинекологов, которых она изображает людьми циничными и аморальными. Чехов приводит ей в пример своего университетского профессора по курсу женских болезней В. Ф. Снегирева, который о русской женщине говорит возвышенно, «не иначе, как с дрожью в голосе».

Выступая в защиту врачей, А. П. Чехов, однако, далек от стремления во что бы то ни стало защитить честь мундира и не разделяет взглядов прозектора Петра Игнатьевича из «Скучной истории», по глубокому убеждению которого, «самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские».

Чехов предостаточно видел среди врачей и невежд, и хамов, как и среди людей других профессий. И хотя он считает, что за те «отвратительные часы и дни», которые бывают только у врачей, им многое простить можно, не склонен прощать такого порока, как стяжательство.

Антону Павловичу близки и понятны принципы общественной медицины, развиваемые Е. А. Осиповым. В соответствии с этими принципами полностью исключаются денежные отношения между больным и врачом. Оказывая медицинскую помощь, врач получает материальное обеспечение от земской управы.

Не так давно, читая воспоминания крупнейшего французского хирурга Рене Лериша, я натолкнулся на фразу, которую не сразу понял: «…хирург живет хирургией. Тяжелая необходимость», – пишет Лериш.

Я удивился – я тоже являюсь хирургом и тоже живу хирургией, то есть все мои мысли и переживания – о больном, которого только что оперировал.

Лишь дочитав абзац, я понял, что автор имел в виду:

«Насколько лучше чувствуешь себя перед самим собой, когда можешь дать царственный подарок – здоровье, отдавая только себя без того, чтобы дар был оплачен…»

Сегодня в нашей стране врачи и больные, к великому взаимному счастью, лишены необходимости продавать и покупать здоровье.

На протяжении всего своего творческого пути Антон Павлович будет развивать образ врача-стяжателя, считающего купюры, чтобы, наконец, заклеймить его в ставшем

нарицательным имени Ионыч.

«…Мой папа был доктором, а доктора одним осязанием угадывают качество бумажки», – иронизирует он в фельетоне «На магнетическом сеансе».

«…Ну что может быть приятнее, когда стоишь этак с глазу на глаз с обывателем и вдруг чувствуешь на ладони некоторое бумажное, так сказать, соприкосновение… Так и бегают по жилам искры, когда в кулаке бумаженцию чувствуешь…» – откровенничает становой, которого по этой фразе публика в вагоне принимает за доктора («В вагоне»).

В записной книжке Антона Павловича есть такая заметка: «Торгово-промышленная медицина» – и больше ничего не сказано.

Словосочетание это, наверно, обратило внимание писателя своей противоестественностью: медицина может быть только человеческой.

Эта фраза заставила меня вспомнить доктора Нещапова из рассказа «В родном углу», который когда-то был врачом, но потом взял на заводе пай и теперь, хотя и продолжает заниматься медицинской практикой, не считает ее своим главным делом.

Врач-предприниматель, врач-фабрикант – разве это не противоестественно?

Но ведь не менее противоестественно широко распространенное явление, когда врач ставит целью своей жизни накопление капитала за счет пациентов.

В повести «Дуэль» выведен эпизодический, но запоминающийся персонаж – доктор Устимович (тусклые глаза, жесткие усы, чахоточная шея). В качестве врача он соглашается присутствовать на дуэли, но ставит условия: «Каждая сторона платит по пятнадцать рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все тридцать…»

Чехов устами Лаевского определяет его сущность: «Ростовщик, а не доктор!»

Страсть к стяжательству – это порок не столько личности, сколько общества, построенного на принципе купли-продажи. Даже сильные, незаурядные натуры порой бывают неспособны устоять перед развращающим влиянием капитала. Примером этого может послужить превращение способного доктора Дмитрия Ионыча Старцева в зловещую фигуру «языческого бога», поклоняющегося только золотому тельцу.

Образ доктора Старцева представляется мне дальнейшим развитием и углублением образа доктора Топоркова из раннего рассказа «Цветы запоздалые».

У них много общего. Оба – выходцы из народа и сами

пробили себе дорогу. Они знают свое дело и готовы работать день и ночь. Но больше всего объединяет их дух стяжательства. Вот Топорков получает гонорар: «…Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатирублевок… По лицу Топоркова пробежала светлая тучка…»

За тем же занятием застаем Ионыча: «…Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это – по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было напихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет…»

В Топоркова влюбляется экзальтированная барышня – разоренная княжна Маруся Приклонская.

«– Удивительный человек, всемогущий человек! – говорит она о докторе. – Как всемогуще его искусство!.. Какой высокий подвиг: бороться с природой и побороть…»

Примерно то же думает о Старцеве влюбленная в него девушка: «…Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье!»

Доктор Топорков отвечает на любовь Маруси Приклонской, лишь когда у нее развивается чахотка. Конец рассказа мелодраматичен: Топорков устанавливает диагноз и, оставив мысль о безбедной, не отягощенной заботами жизни, увозит ее на юг Франции, где она умирает.

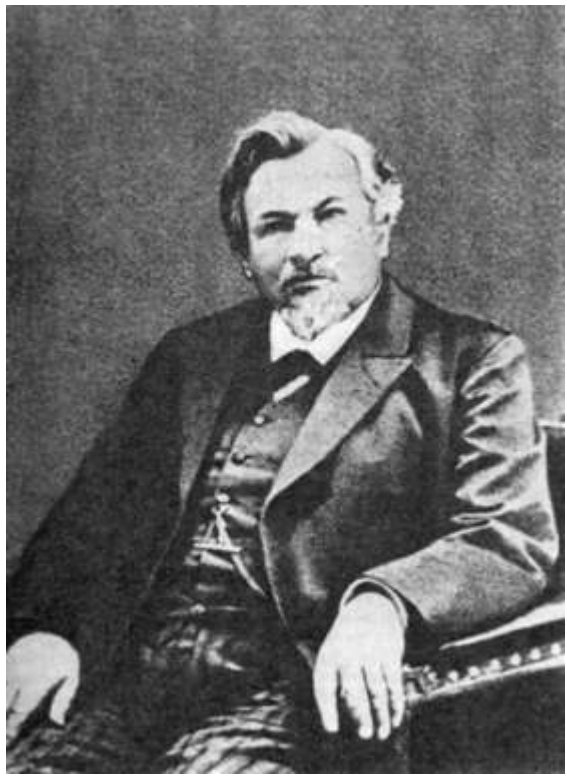
В «Ионыче», при описании чтения Верой Иосифовной Туркиной избранному губернскому обществу своего романа о молодой красивой графине, которая устраивала школы, больницы, библиотеки и в довершение к тому полюбила странствующего художника, Чехов сделал ироническую ремарку: «читала о том, чего никогда не бывает в жизни… и все-таки слушать было приятно», и при этом, возможно, вспомнил свой рассказ шестнадцатилетней давности.

Высокие чувства – не для топорковых и старцевых, и в «Ионыче» писатель исправляет эту ошибку.

Подобно своим учителям – С. П. Боткину, А. Г. Захарьину, Н. И. Пирогову, – А. П. Чехов свято верил в медицину и считал, что все другие, ненаучные способы лечения болезней являются шарлатанством. Это хотелось бы напомнить некоторым современным журналистам и писателям, безответственно распространяющим на страницах газет и журналов легенды о непроверенных и просто темных методах лечения серьезных

болезней.

Он резко выступает против земских либеральных деятелей, которые в порядке благотворительности берутся оказывать медицинскую помощь крестьянам.



Е. А. Осипов

«…Лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их», – говорит художник из повести «Дом с мезонином», и его мысли полностью совпадают с мнением писателя.

Гомеопатия, спиритизм, магнетизм, знахарство – для Антона Павловича понятия почти однозначные.

Когда он хочет дать отрицательную характеристику человеку, то пишет: «…Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то квелый, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом».

И хотя помещик Котлевич из «Ариадны», к которому относятся вышеприведенные слова, был человеком деликатным и неглупым, у рассказчика, а вместе с ним и у автора «не лежит душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб

магнетизмом…»

Еще печальнее, когда на этом же уровне находятся знания дипломированного врача.

Малограмотный доктор, каким бы он ни был добрым человеком, выглядит жалким, беспомощным и опустившимся, как Иван Романович Чебутыкин – военный врач из «Трех сестер», не прочитавший по окончании университета ни одной книжки. «… Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего… – будучи нетрезвым, исповедуется он перед своей совестью. – …В прошлую среду лечил на засыпи женщину – умерла, и я виноват, что она умерла. Да… Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего… О, если бы не существовать!.. Третьего дня разговор в клубе: говорят, Шекспир, Вольтер… Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась… и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко… пошел… запил…»

О том, как тяжело переживал Чехов малограмотность и невежество многих своих коллег, свидетельствуют и его слова, обращенные к А. М. Горькому: «Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме „Новостей терапии“, не читает, и в 40 лет серьезно убежден, что все болезни простудного происхождения…»

Если бы А. П. Чехов в своем творчестве ограничился только всеми этими чебутыкиными, ионычами, свистицкими, шелестовыми, белавиными, то можно было бы согласиться с мнением Г. П. Задеры – участника одной из дискуссий, развернувшейся вокруг чеховских врачей вскоре после смерти писателя, что врачебное сословие выродилось и находится на краю бездны. Однако Чехов видел и других врачей – бескорыстных, интеллигентных, дельных и знающих и писал об их нелегкой жизни, ничего не приукрашивая. Кто-то из литературоведов правильно заметил, что Чехов ввел врача в русскую литературу.

Когда один из персонажей его пьесы «Чайка» высказывает предположение, что у доктора Дорна «денег куры не клюют», тот отвечает: «За тридцать лет практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет».

В рассказе «На подводе» А. П. Чехов привлекает внимание общественности к беспросветно тяжелому положению сельской интеллигенции: «…Учителя, небогатые врачи, фельдшера при

громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как все время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях…»

Земского врача Григория Ивановича Овчинникова (рассказ «Неприятность») мы застаем в критической ситуации, когда он, человек глубоко порядочный, никого в жизни не обидевший, ударил по лицу на виду у больных фельдшера – пьяницу и бездельника, тайно торгующего земскими лекарствами и берущего с больных взятки.

Анализ обстоятельств, вызвавших нервный срыв у доктора Овчинникова, показывает: столкновение с пьяницей-фельдшером, презирающим медицину, – это только последняя маленькая песчинка из целой горы неприятностей. Значительно серьезнее осложняет жизнь и работу доктора произвол невежественной и грубой земской администрации, ни во что не ставящей подвижнический труд врача.

В пору борьбы с холерой земский врач Антон Павлович Чехов на себе испытал пренебрежительное отношение власть имущих.

«…В Биарице живет теперь мой сосед, владелец знаменитой Отрады, граф Орлов-Давыдов, бежавший от холеры, – пишет Антон Павлович А. С. Суворину. – Он выдал своему доктору на борьбу с холерой только 500 руб. Его сестра, графиня, живущая в моем участке, когда я приехал к ней, чтобы поговорить о бараке для ее рабочих, держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься. Мне стало больно, и я солгал ей, что я богатый человек. То же самое солгал я и архимандриту, который отказался дать помещение для больных, которые, вероятно, случатся в монастыре. На мой вопрос, что он будет делать с теми, которые заболеют в его гостинице, он мне ответил: „Они люди состоятельные и сами вам заплатят…“ Понимаете ли? А я вспылил и сказал, что нуждаюсь не в плате, ибо я богат, а в охране монастыря… Бывают глупейшие и обиднейшие положения… Перед отъездом графа Орлова-Давыдова я виделся с его женой. Громадные бриллианты в ушах, турнюр и неуменье держать себя. Миллионерша. С такими особами испытываешь глупое семинарское чувство, когда хочется сгрубить зря…»

А доведенный до исступления Григорий Иванович Овчинников из рассказа «Неприятность» заявил более решительно: «Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду».

Земский врач Кирилов вступает в конфликт с помещиком Абогиным (рассказ «Враги»).

У Абогина якобы опасно заболела жена, и он мчится за доктором. Он застает врача в неутешном горе: только что от

дифтерии умер его единственный ребенок, шестилетний Андрей.

Еще не просохли росинки слез на бороде Кирилова, но Абогин не может ждать, он требует от доктора мужества, подвига «во имя человеколюбия».

Своим вторжением Абогин нарушил едва уловимую, как пишет Чехов, красоту человеческого горя, «которую умеет передавать, кажется, одна только музыка».

В Кирилове победил «рефлекс врачебного долга» (который, кстати, «срабатывает» и в рассказе «Зеркало», когда тяжелобольного врача вынуждают ехать за 40 верст на вызов).

Смертельная болезнь помещицы оказывается мистификацией. Она притворилась больной, чтобы, отослав из дома мужа, сбежать с любовником. Обманутый Абогин потрясен. Он изливает перед доктором душу, посвящая его в тайны своих амурных отношений.

Таким образом доктор, три дня не спавший, оставивший скорбящую у трупика сына жену, невольно становится участником пошлого фарса, который разыгрывается в чуждом ему мире.

Кирилов не желает выслушивать излияний Абогина. Он возмущен и оскорблен:

«– …Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами?»

Он выступает против Абогина не только от своего имени:

«– …Вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями, моветонами, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!»

Хотя в случившемся Абогин формально не виноват и к тому же сам оказывается в незавидном положении обманутого мужа, у читателя не создается впечатления, что Кирилов незаслуженно обрушивается на него с обвинениями. Писатель так тонко строит рассказ, что несчастье Абогина воспринимается как несчастье каплуна, которого «давит лишний жир».

Они – смертельные враги: земский врач, труженик Кирилов с обожженными карболкой руками и здоровый, осанистый помещик Абогин, вызвавший у доктора ассоциацию с чучелом солидного и сытого волка.

Слова, которыми Абогин пытается выражать свои переживания, бездушны, ходульны, неуместно цветисты. Эти пошлые слова оскорбляют чувства Кирилова.

И хотя в итоге оба героя разбивают ту «угрюмую тишину», в которой Чехов видит истинную красоту, «Враги» не воспринимаются как рассказ о жестокости и разобщенности

людей, ослепленных собственным горем. Трагедия Кирилова несопоставима с сентиментальными сентенциями Абогина. Глубокое человеческое горе оскорблено пошлостью.

Вражда эта значительно шире и глубже, чем вражда между двумя людьми. Возвращаясь с вызова домой, Кирилов «осудил и Абогина, и его жену, и Панчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю жизнь ненавидел их и презирал до боли в сердце…».

В рассказе «Княгиня», который А. П. Чехов написал вскоре после «Врагов», по меткому выражению критика В. В. Ермилова, столкнулись «родной брат» доктора Кирилова и «родная сестра» помещика Абогина.

Доктор Михаил Иванович, служивший когда-то в одном из имений княгини и уволенный без объяснения причин, при случае высказывается перед ней в духе Кирилова – резко и откровенно:

«– …Вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!.. Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку!..»

Доктор и княгиня – такие же враги, как Кирилов и Абогин. И хотя в финале рассказа Михаил Иванович просит прощения и, краснея, целует руку у этой «поганой бабы», как Антон Павлович характеризует княгиню в письме А. С. Суворину, примирение между ними невозможно.

В одном из своих выступлений А. Моруа вопрошает:

«…Кто в описании врачей может соперничать с Бальзаком? И разве не необходимо было хоть немного ощутить себя врачом, чтобы создать образы доктора Бьяншона и хирурга Десплена? Кто лучше тяжко больного Пруста знал цену доверию, которое возбуждает в нас человек, глазом более проницательным, чем наш собственный, угадывающий тайну нашего организма?…»

На этот вопрос замечательного французского романиста и биографа мы можем ответить: Антон Павлович Чехов, ибо ему не надо было представлять себя врачом и больным – он был един в трех лицах: писателя – врача – больного. Отсюда та достоверность, которая отличает каждое его слово.

И. Г. Эренбург, безусловно, был прав, считая, что, не знай Чехов тревоги за жизнь больного, не испытай он сознания собственного бессилия ему помочь, не переживи он чередования надежды и отчаяния, ему куда труднее было бы понять и передать дни и часы своих героев.

Существует множество высказываний о прототипах героев чеховского рассказа «Попрыгунья». Сам Антон Павлович писал по этому поводу своей знакомой писательнице Л. А. Авиловой: «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“…и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».

Речь идет о Софье Петровне К. и участниках ее салона, известного в Москве в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Но, как определенно указывает автор, сходство это только внешнее.

Врач и ученый Дымов, беспредельно скромный, преданный больным и науке, – образ собирательный.

Среди знаменитостей, окружающих его жену Ольгу Ивановну, Дымов представляется слишком ординарным, незначительным. И только когда он умирает, заразившись дифтерией от мальчика, у которого отсасывал через трубку дифтерийные пленки, всем вдруг открывается, какой это был необыкновенный человек.

Один из его коллег, доктор Коростелев, с горечью говорит Ольге Ивановне:

«– Умирает, потому что пожертвовал собой… Какая потеря для науки! Это, если всех нас сравнить с ним, был великий необыкновенный человек. Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! – продолжал Коростелев, ломая руки. – Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь…

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

– А какая нравственная сила! – продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. – Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти… подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну…»

Говоря о «прототипах» этого рассказа, нельзя не вспомнить тургеневского Базарова. Болезнь и смерть Дымова, по мнению, некоторых литературоведов, навеяна заключительными сценами романа, восторгавшими Антона Павловича: «Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было чувство, как будто я заразился от него», – писал он А. С. Суворину.

Кстати, не так давно Л. П. Гроссман, а затем А. А. Шамаро высказали предположение, что в образе доктора Дымова Антон Павлович вывел московского врача Иллариона Ивановича Дуброво, скончавшегося в результате заражения дифтерией при тех же обстоятельствах, что и герой чеховского рассказа.

Однако, как мы уже говорили, случаи преждевременной смерти медицинских работников от инфекционных заболеваний в те времена были широко распространены, и в трагической судьбе Дымова писатель показал весьма типичную историю.

Свой рассказ Чехов сначала назвал «Великий человек». Но еще до публикации изменил это название. И, вероятно, не только потому, что оно показалось ему претенциозным. Ложному величию людей, окружающих Ольгу Ивановну, он противопоставил величие, до которого поднялся скромный врач в исполнении своего врачебного долга.

В 1894 г. был опубликован «Рассказ старшего садовника». Для литературоведов пятистраничный рассказ этот представляет интерес в плане изучения взглядов писателя на право государства лишать человека жизни за совершенные им преступления. Для нас же важно, что в образе невинного и благородного человека, против которого совершено преступление, Чехов выводит врача.

Весьма возможно, что в образе главного героя нашли отражение некоторые черты тюремного врача Федора Петровича Гааза,[40] «великого филантропа», «святого доктора», как его прозвали в народе.

Антон Павлович, когда писал «Рассказ старшего садовника», успел уже побывать на «кандальном острове», где, безусловно, должен был познакомиться с преданиями и легендами о тюремном враче Ф. П. Гаазе.

О необычайной популярности Федора Петровича свидетельствует эпизод из очерка А. Ф. Кони, посвященного легендарному доктору:

«В морозную зимнюю ночь он должен был отправиться к бедняку-больному. Не имея терпения дождаться своего старого и кропотливого кучера Егора и не встретив извозчика, он шел торопливо, когда был остановлен в глухом и темном переулке несколькими грабителями, взявшимися за его старую волчью шубу. Ссылаясь на холод и старость, Гааз просил оставить ему шубу, говоря, что он может простудиться и умереть, а у него на руках много больных, и притом бедных, которым нужна его помощь. Ответ грабителей и их дальнейшие внушительные угрозы понятны. „Если вам так плохо, что вы пошли на такое дело, – сказал им тогда старик, – то придите за шубой ко мне, я велю ее вам отдать или прислать, если скажете куда, и не бойтесь

меня, я вас не выдам; зовут меня доктором Гаазом, и живу я в больнице, в Малом Казенном переулке… А теперь пустите меня, мне надо к больному…“ – «Батюшка, Федор Петрович, – отвечали ему неожиданные собеседники, – да ты бы так и сказал, кто ты!

Да кто ж тебя тронет, – да иди себе с богом! Если позволишь, мы тебя проводим…»

Принимая на себя обязанности члена, а вскоре – директора Московского попечительного о тюрьмах комитета, Федор Петрович был весьма обеспеченным человеком. Однако быстро исчезли белые лошади и карета, была продана недвижимость, и Ф. П. Гааз поселился в двух небольших комнатах при больнице. Отказывая себе во всем, старик, как пишет А. Ф Кони, сохранил одну слабость: он купил по случаю телескоп и, «усталый от дневных забот, любил по ночам смотреть на небо, столь близкое, столь понятное его младенчески чистой душе…». Картина звездного неба отвлекала от мыслей о грешной Земле, на которой он видел столько несправедливого и жестокого.

В 1853 году, когда пришлось хоронить некогда преуспевающего врача, необходимо было это сделать за счет полиции. Своим наследникам «святой доктор» оставил только духовное завещание, в котором призывал их: «Торопитесь делать добро!»

В «Рассказе старого садовника», этом рассказе-притче, показан идеал чеховского врача, о котором говорили, что «он знает все» и «он любит всех!»

«…Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и странное дело, – когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал».

Жители города уважали доктора, любили и ценили его.

Сказка эта написана необыкновенно тепло, задушевно. Не потому ли, что сам автор был наделен многими чертами ее главного героя?

Как примирить это чеховское представление о высоком назначении врача с рядом встречающихся в его произведениях высказываний о том, что медицинские пункты, так же как и школы, и библиотеки, служат порабощению народа?

«…Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья – вот вам мое убеждение…» – в пылу полемики заявляет художник из рассказа «Дом с мезонином».

Почему же тогда сам писатель всю свою жизнь лечил людей, строил школы и создавал библиотеки?

В свое время – вскоре после смерти Антона Павловича – раздавались предложения: чтобы ослабить эту «цепь», заменить

труд врачей на селе более дешевым – фельдшерским.

«Всему своя мера – и медицина должна не забегать вперед, а двигаться на уровне с удовлетворением других, не менее важных народных нужд и сообразно с материальными средствами народа», – писал критик Г. П. Задера.

Г. Н. Россолимо

Мысль эту нельзя назвать ни свежей, ни новой: когда организовывалось земство, крупные землевладельцы выступали за образование именно фельдшерских, а не врачебных участков на том основании, что якобы невежественному и безграмотному мужику ближе знахарь и поп, чем дипломированный врач.

Нет, Чехов думал иначе.

Доктор Королев в «Случае из практики» не считал лишними ни фабричных врачей, ни спектакли для рабочих, хотя относился к этим либеральным веяниям эпохи как к лечению неизлечимых болезней: облегчить страдания можно, но вылечить – нет.

Так же, как художник из «Дома с мезонином», Чехов полагает, что важнее лечить не болезни, а причины, их вызывающие. Одной из главных причин таковых он считает рабский, подневольный

труд:

«…Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь лечатся, рано блекнут, старятся и умирают в грязи и в вони…»

Антон Павлович прекрасно понимал половинчатость усилий своих собратьев по медицинской профессии и тем не менее высоко ценил их подвижническую деятельность.

В январе 1902 г. в Москве состоялся VIII съезд общества русских врачей. Общество это было основано в год смерти Н. И. Пирогова (1881) и названо в честь и память великого хирурга Пироговским.

Съезды общества, на которых обычно обсуждались кардинальные проблемы практической и научной медицины, были высшим общественным органом русских врачей.

Антон Павлович записался участвовать в работе VIII съезда, но по состоянию здоровья не смог приехать в Москву.

А 12 января в Ялту пришли две телеграммы; Антон Павлович сказал, что они подняли его на высоту, о какой он никогда не мечтал.

Телеграммы эти настолько взволновали и тронули писателя, что он, обычно с юмором относившийся ко всяким почестям, изредка выпадавшим на его долю, не выскажет на этот раз ни одной насмешливой или шутливой фразы, а собственной рукой слово в слово перепишет текст этих посланий, чтобы поделиться своей радостью с сестрой:

«Врачи-товарищи, члены VIII пироговского съезда русских врачей, присутствующие сегодня в Художественном театре на представлении „Дяди Вани“, шлют горячо любимому автору, своему дорогому товарищу, выражение глубокого уважения и пожелания здоровья». Далее шли подписи.

Другая телеграмма: «Земские врачи глухих углов России, видевшие в исполнении художников произведение врача-художника, приветствуют товарища и навсегда сохранят память об 11 января».

Чехов не сообщает Марии Павловне еще об одной телеграмме, так как она была доставлена на следующий день, когда письмо уже было отправлено. Телеграмма эта подписана доктором Е. А. Осиновым – одним из основателей и руководителей Пироговского общества.

Имя Евграфа Алексеевича было особенно дорого Антону Павловичу потому, что он возглавлял земскую медицину Московской губернии во время деятельности в Серпуховском

уезде доктора Чехова.

«Присоединяясь к товарищам, от всей души желаю доброго здоровья Вам, глубокоуважаемый Антон Павлович, и долгого процветания Вашему чудному таланту», – телеграфировал Е. А. Осипов.

В канун XX в. А. П. Чехову был «пожалован» орден Святого Станислава 3-й степени. Тем же «высочайшим указом» его произвели в потомственные дворяне. Однако «монаршья милость» Николая II не получила резонанса в душе писателя, и ни в одном из писем к друзьям или родным он даже не считал нужным сообщить об этом факте.

Признание своих коллег-врачей Антон Павлович расценивал как высшую честь и награду, которую он принимал с радостью, хотя из скромности считал, что досталась она ему не по заслугам.

В медицине прежде всего нужны знания…

Глубокое изучение трудов И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева и Ч. Дарвина воспитало в Чехове материалиста, мыслящего широко и смело.

Он гордится своим материалистическим мировоззрением.

«Вас пугают материалистические идеи Вагнера?[41] – спрашивает он А. С. Суворина и заявляет: – Я в миллион раз больше материалист, чем он…»

Критикуя роман Бурже[42] «Ученик», в качестве главного недостатка Чехов усматривает «претенциозный подход против материалистического направления», ибо, по его глубокому убеждению, оно «не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости… Мыслящие люди – материалистичны тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю…» – и далее Антон Павлович делает логический вывод: «Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит нет и истины…».

В письме Суворину Антон Павлович обвиняет Бурже в том, что сюжет и герой книги «компрометируют в глазах толпы науку, которая, подобно жене Цезаря, не должна быть подозреваема».

По мнению литературоведа А. Туркова, высказанному недавно на страницах журнала «Наука и жизнь», в идейном споре с этим романом Бурже и русскими его поклонниками А. П. Чехов написал «Скучную историю» – правдивый рассказ о жизненной драме человека и ученого.

Производя ревизию и переоценку прожитой жизни, главный герой этой повести не теряет веры в прогресс и, умирая, хотел бы «проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой».

Ни перед чем А. П. Чехов так не преклоняется, как перед достижениями научной мысли, за которыми он постоянно следит:

«…Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику, и покорить ее своею массою, грандиозностью», – прогнозирует Антон Павлович научный «бум» XX столетия.

И даже в «Палате № 6», окунувшись в чудовищную атмосферу рагинской больницы – заведения безнравственного и вредного для здоровья, писатель не забывает напомнить, что эта

средневековщина существует в период бурного расцвета медицины, когда благодаря антисептике рядовые хирурги с успехом производят операции, о которых даже не мечтал великий Пирогов, когда радикально излечивается сифилис, когда на земле есть Пастер и Кох.

Антон Павлович решительно выступает против профанации науки. И в этом он солидаризируется с К. А. Тимирязевым.

Любопытную страничку их взаимоотношений приоткрыл И. В. Федоров.

К. А. Тимирязев, будучи не только крупнейшим ученым-ботаником, но и блестящим популяризатором науки, в статье «Пародия науки» высказал возмущение дешевой рекламой научных исследований, устроенной фитобиологической станцией Московского зоосада.

«…Популяризатор, – писал он, – имеет право выступать перед публикой во всеоружии настоящей науки, показывая этой публике завоевания науки, добытые талантом и трудом в тиши настоящих лабораторий и кабинетов, а выходить на улицу публично производить пародию научных исследований в каких-то пародиях лабораторий… значит сознательно подрывать значение науки».

Зоолог В. А. Вагнер познакомил А. П. Чехова с брошюрой К. А. Тимирязева, наделавшей много шума в научных кругах. Антон Павлович тщательно проверил факты и в соавторстве с В. А. Вагнером написал фельетон «Фокусники», который вместе с брошюрой направил Суворину: «…Как добавление к брошюре посылаю заметку. Тимирязев воюет с шарлатанской ботаникой, а я хочу сказать, что и зоология стоит ботаники. Вы прочтите заметку до конца; не надо быть ботаником или зоологом, чтобы понять, как низко стоит у нас то, что мы по неведению считаем высоким… Заметка покажется Вам резкою, но я в ней ничего не преувеличил и не солгал ни на йоту, ибо пользовался документальными данными».

«Очевидно, – писали в фельетоне А. П. Чехов и В. А. Вагнер, – что вновь открытая ботаническая станция… есть родная дочь зоологической лаборатории, что, строго говоря, оба эти учреждения отличаются только названиями… оба служат образчиками прискорбного неуважения к науке и публике. Лаборатория так же, как и теперешняя станция, не была нужна ни для ученых, ни для учащихся, ни тем паче для публики. Наконец, самое возникновение ее, очевидно, имеет тот же мотив, что и у ботанической станции, т. е. мотив рекламы».

Статья по просьбе В. А. Вагнера, боявшегося гнева могущественного директора зоологического сада, не была подписана, и К. А. Тимирязев долгие годы не догадывался, с чьей

стороны пришла поддержка.

Выступая против крикливой рекламы и профанации науки, Антон Павлович в то же время был поборником санитарного просвещения населения, призывал своих коллег-врачей не гнушаться этого раздела работы: «Мне кажется, пора земским врачам перестать презирать общую печать и относиться к ней как к чему-то постороннему, стоящему далеко вне; пора уже им и прежде всего санитарным врачам занять в журналистике ту область, которая принадлежит им по праву компетенции и от которой они уклоняются…» – писал он князю С. И. Шаховскому.

Медицинские выступления самого А. П. Чехова в общей печати носили не случайный характер. Не так давно Н. И. Гитович на основании текстологического анализа удалось установить принадлежность его перу еще двух фельетонов на медицинскую тему. В одном из них – «О долговечности» – Антон Павлович ставит конкретные задачи перед общественной гигиеной и делает глубоко научный и справедливый даже на сегодняшний день вывод о магистральных путях продления человеческого века: «…Устранение причины случайной и преждевременной смерти, воспитание бодрых поколений, из которых могли бы выходить столетние, уменьшение общей смертности, продление средней продолжительности жизни – все это составляет ее прямые задачи, удачное выполнение которых, конечно, вернее может увеличить шансы долголетней жизни, чем разные эликсиры, настойки, сиропы, пилюли, отдельные предписания насчет того или иного образа жизни…»

Досаду и боль в душе Чехова вызывает пренебрежительное отношение Л. Н. Толстого к естественным наукам: «…Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах… и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами», – пишет он А. Н. Плещееву в феврале 1890 г.

«В Гёте рядом с поэтом прекрасно уживался естественник», – заметил однажды Антон Павлович. Точно так же в нем самом писатель тесно дружил с врачом. Чехов и не понимает, почему должны воевать анатомия и изящная словесность, которые «имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага – черта…»

В самую середину нашего века послан его ответ, завершающий полемику «физиков» и «лириков»: «…Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс „Я помню чудное

мгновенье“, то становится не беднее, а богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами…»

Общеизвестно шутливое определение Чехова, что медицина – это его законная жена, а литература – любовница. Но это был тот редкий случай, когда любовная связь не наносила ущерба законному союзу, который в свою очередь обогащал любовь новым содержанием и знаниями.

«…Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность, – читаем мы в краткой автобиографии писателя, – они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями… Они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе…»

В одном из ранних фельетонов «Модный эффект» Антон Павлович посмеивается над авторами, у которых герои умирают от таких ужасных болезней, каких нет даже в самых полных медицинских учебниках. А в только что цитированной автобиографии он замечает по этому поводу, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными. И в этом нет противоречия: «Нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле, – пишет Чехов. – Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем…»

А. П. Чехов неоднократно подчеркивал, что писатель, знающий естественные науки, имеет преимущество перед своим собратом, не получившим такой подготовки. Эти его высказывания дали основание ряду литературоведов причислить Чехова к числу родоначальников натуралистической школы и даже найти многочисленные точки соприкосновения его творческого метода с методом общепризнанного метра натурализма Эмиля Золя.

Это не соответствует действительности. Антону Павловичу претил грубый физиологизм человеческих отношений, проповедуемый Золя в ряде его романов. В то же время Чехов высоко ценил гражданскую смелость великого французского писателя.

Во время своего мимолетного пребывания в Париже в мае 1898 года, когда «дело Дрейфуса» превратилось в «дело Золя»,

выступившего в защиту невинно осужденного, Антон Павлович сожалел, что не может встретиться со знаменитым французским писателем, и просил журналиста Е. П. Семенова передать Золя благодарность («человека за человека благодарю») и пожелание счастья в его деле.

В сентябре 1902 года, узнав о смерти Золя, Чехов написал жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя… Как писателя, я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса,[43] я оценил его высоко».

В ялтинском доме писателя С. Балухатый обнаружил более 100 томов специальной литературы по различным отраслям медицинских знаний. Библиотека эта – не «мертвый груз» и не память о студенческих годах. Исправленные рукой Антона Павловича опечатки в ряде книг, изданных уже после окончания им университета, свидетельствуют, что Чехов продолжал следить за развитием медицинской науки.

Это же подтверждают его письма, в которых он отмечает поразительные победы медицины на разных ее фронтах: «…Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет», – замечает он в одном из писем.

«…Глаза лечат теперь превосходно. Медицина в этом отношении далеко ушла», – сообщает в другом.

И таких высказываний, разбросанных на страницах его писем, можно найти великое множество.

Антон Павлович проявил поразительные для своего времени познания в причинах происхождения ряда заболеваний. В этом плане большой интерес представляют высказывания молодого доктора о болезни шестидесятипятилетнего писателя Дмитрия Васильевича Григоровича: «…Старичина поцеловал меня в лоб, обнял, заплакал от умиления, и… от волнения у него приключился жесточайший припадок грудной жабы. Он невыносимо страдал, метался, стонал…»

В приведенном отрывке показана четкая связь приступа стенокардии с эмоциональным напряжением. Чехов рассматривает стенокардию у Григоровича как проявление «атероматозного процесса».

«…Об этой болезни Вы составите себе ясное представление, если вообразите обыкновенную каучуковую трубку, которая от долгого употребления потеряла свою эластичность, сократительность и крепость, стала более твердой и ломкой, – объясняет он как хороший популяризатор не имеющему ни малейшего представления о медицине А. С. Суворину: просто и абсолютно точно. – Артерии становятся такими вследствие того, что их стенки делаются с течением времени жировыми или

известковыми. Достаточно хорошего напряжения, чтобы такой сосуд лопнул. Так как сосуды составляют продолжение сердца, то обыкновенно и само сердце находят перерожденным. Питание при такой болезни плохо. Само сердце питается скудно, а потому и сидящие в нем нервные узлы болят, – отсюда грудная жаба…»

Известный советский терапевт Г. П. Шульцев, анализируя эти высказывания А. П. Чехова, отмечает их полную созвучность современным представлениям о перерождении сердца и причинах боли. Профессор Шульцев подчеркивает, что термин «атероматозный процесс» – жировое перерождение артерий – был применен А. П. Чеховым на 6–7 лет раньше, чем он вошел в широкий врачебный обиход. По мнению специалиста-кардиолога, это – не пересказ лекций Г. А. Захарьина, а собственные взгляды доктора А. П. Чехова на причину болезни. В другой раз, обсуждая причину смерти актера Александрийского театра П. М. Свободина, он совершенно правильно (с сегодняшних наших позиций) расценил его болезнь сердца и сосудов как проявление хронического воспаления почек, которым длительное время страдал больной. Когда заболел И. И. Левитан, Чехов выслушал его сердце и понял, что дела плохи. Об этом он сообщил в одном из писем в марте 1897 г.: «Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине – „шум с первым временем“. Сегодня мы бы назвали такой шум систолическим, и бывает он при тяжелых пороках сердца.

Г. П. Шульцев считает, что Чехова следует отнести к числу выдающихся русских врачей конца XIX в. С его мнением полностью солидарен крупнейший советский терапевт, ныне покойный академик И. А. Кассирский. А один из основоположников советской хирургии академик С. С. Юдин среди выдающихся деятелей отечественной медицины, воспитанных в стенах Московского университета, – профессоров Н. И. Пирогова, С. П. Боткина, И. М. Сеченова, Н. В. Склифосовского, С. П. Федорова, Н. А. Вельяминова, С. И. Спасокукоцкого – назвал имя доктора А. П. Чехова.

Свои глубокие и разносторонние медицинские познания А. П. Чехов тонко вплетает в «кружево» своих произведений. И хотя он признается, что изображает больных лишь постольку, «поскольку они являются характерами или поскольку они картинны», в его произведениях можно встретить образы людей, страдающих самыми различными заболеваниями. При этом, освещая медицинские проблемы, он обычно поднимает их до общечеловеческого звучания.

Рассказ «Случай из практики» построен, действительно, как частный случай из практики доктора Королева, приехавшего по

вызову к дочери владелицы фабрики госпожи Ляликовой.

Автор с юмором подмечает широко распространенное явление, когда родственники больной вместо того, чтобы сообщить, кто болен и в чем дело, излагают врачу свою версию причины болезни.

А суть заключается в том, что больна Лиза, девушка двадцати лет. Болеет она давно и лечится у разных докторов. В последнюю ночь у нее было сильное сердцебиение, и все боялись, что она может умереть.

Королев словно пишет историю болезни: больная «совсем уже взрослая, большая, хорошего роста…»

Поздоровавшись с больной за руку, он мимолетно задержал на ней внимание.

Дело в том, что терапевты старой школы многое могли «прочитать» по руке пациента, и не только касательно образа его жизни, но и ряда перенесенных болезней. Так, пальцы в виде «барабанных палочек» свидетельствовали о хроническом гнойном процессе в легких, ломкие ногти – о малокровии, связанном с недостатком в организме железа, и т. п.

Королев ничего этого не отмечает. У больной была большая, холодная, некрасивая рука.

Доктор выслушивает сердце и произносит, словно записывает в историю болезни: «Сердце, как следует…»

Остается сделать заключение: нервы «подгуляли немного», но это – не страшно. Болезнь обыкновенная, ничего серьезного, и врача менять нецелесообразно.

На этом, собственно, кончается медицинская часть диагноза.

Королева просят остаться на ночь, и тут ему постепенно проясняется социальный диагноз болезни его пациентки, которая хотя и является богатой наследницей, миллионершей, живет на территории завода «точно в остроге».

«…Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается, – это дьявол».

Этот «дьявол» съедает не только тех, кто на него работает, но и тех, для кого он создан. И слабый и сильный становятся его жертвой.

Королев предлагает рецепт: бежать от этих пяти корпусов, оставив «дьявола» с его миллионами. И от того, что он встретил понимание в душе девушки, он уехал из этого царства Желтого дьявола в хорошем настроении. И по дороге домой он «думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро…»

Так под пером А. П. Чехова обычный случай из врачебной практики превратился в яркое описание социальных болезней капиталистического общества.

Испытывая тяготение к научной и преподавательской деятельности, Чехов хотел прочитать студентам курс лекций по весьма оригинальной тематике: субъективное ощущение больного человека, т. е. все то, что переживает больной человек, что составляет его внутренний мир, обнаженный и деформированый страданием. Изучение внутренней картины болезни, по свидетельству крупного советского терапевта профессора Р. А. Лурия, много занимавшегося проблемами психосоматики, представляет серьезную и трудную для врача задачу, далеко выходящую за пределы регистрации жалоб больного. К преподаванию в университете Чехова, как известно, не допустили. Однако сегодня «внутренняя патология страданий» – тот предмет, который предполагал читать Антон Павлович, вряд ли может обойтись без его произведений. Ведь мало кто из писателей и ученых проникал так глубоко, как А. П. Чехов, в сложную сущность человеческого страдания.

Известный киевский врач профессор Е. И. Лихтенштейн в одной из своих недавно вышедших книг заметил, что произведения любимых писателей и в первую очередь А. П. Чехова облегчали ему проникновение во внутреннюю картину болезни и тем способствовали установлению… контакта с пациентом. Думаю, что подобное признание могли бы сделать многие врачи.

Каковы ощущения человека, находящегося в лихорадочном состоянии? Откройте рассказ «Тиф».

Молодой поручик возвращается домой. Ему нездоровится. Он с ненавистью смотрит на соседа по купе, задающего какие-то вопросы. Он не находит себе места. Руки и ноги его не укладываются на диване, хотя весь диван в его распоряжении. Во рту у поручика сухо и липко. В голове тяжелый туман «…Мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей…»

Кто хоть раз в жизни испытал лихорадочное состояние, должен согласиться, что Чехов передал его весьма точно и высокохудожественно.

В этом же рассказе Антон Павлович очень точно передает радость человека, выздоравливающего после тяжелой болезни, внезапно бросившей его на грань жизни и смерти:

«…Всем его существом, от головы до ног, овладело ощущение

бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир… Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина, как мил и симпатичен доктор, как вообще хороши и интересны люди…»

Опьянение жизнью невольно доводит поручика до жестокого эгоизма. Ухаживая за ним, заразилась и умерла его любимая сестра Катя, восемнадцатилетняя девушка, готовившаяся к учительскому экзамену. Эта страшная неожиданная новость «не могла побороть животной радости, наполнившей выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть».

И только спустя неделю, когда улетучилось опьянение первых дней возрожденной жизни, наступило горькое похмелье и ощущение невозвратимой потери.

Советский писатель З. Паперный, на протяжении многих лет занимающийся исследованием творчества Чехова, называет его «великим диагностом человеческой души» и расшифровывает свое определение: «…он представляет все неисчерпаемое многообразие человеческих случаев, ситуаций, вариантов».

Чаще всего болезнью страдает сама действительность, которую художник исследует глубоко и разносторонне с тщательностью ученого.

К. Г. Паустовский, оценивая влияние «второй» профессии на творчество Антона Павловича, писал: «То, что Чехов был врачом, не только дало ему знание людей, но сказалось и на его стиле. Если бы Чехов не был врачом, то, возможно, он бы не создал такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу.

Некоторые его рассказы (например, «Палата № 6», «Скучная история», «Попрыгунья», да и многие другие) написаны как образцовые психологические диагнозы…»

В той же самой «Золотой розе» К. Г. Паустовского, из которой почерпнуты приведенные выше слова, есть такое наблюдение, касающееся «механики» творческого процесса:

«…Надо успеть записать. Малейшая задержка – и мысль, блеснув, исчезает.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому, что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной…»

Паустовский, по-видимому, прав. Но мне как врачу многие короткие рассказы доктора Чехова представляются написанными не на обычной бумаге, а на рецептурных бланках, по которым отпускают сильнодействующие лекарства. Такова в них концентрация сюжета и мощь воздействия на человеческое сердце, с той лишь существенной разницей, что медикаменты успокаивают и притупляют страдание, а чеховские рассказы возбуждают и обостряют боль.

«Кому повем печаль мою?…» Кто выслушает одинокого, засыпанного мокрым снегом извозчика Иону, у которого умер сын? (рассказ «Тоска»), У него нет сил молчать, потому что тоска громадная, не знающая границ, готовая залить мир, ищет выхода. «Надо рассказать, как заболел сын, как мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу… Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать…» Но никому из тысячи людей, снующих по улице, нет дела до Ионы и его горя. Разве только лошади можно излить душу.

«… – Так-то, брат, кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать. И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…

Иона увлекается и рассказывает ей все…»

В 1887 году был напечатан рассказ Д. В. Григоровича «Сон Карелина».

Антон Павлович откликнулся на публикацию: «Конечно, сон – явление субъективное и внутреннюю сторону его можно наблюдать только на самом себе, но так как процесс сновидения у всех людей одинаков, то, мне кажется, каждый читатель может мерить Карелина на свой собственный аршин, и каждый критик поневоле должен быть субъективен. Я сужу на основании своих снов, которые часто вижу…»

В письме к Д. В. Григоровичу он дает высокую оценку этому его произведению, рассматривая его не только как художник, но и как врач, обладающий глубокими познаниями по физиологии снов и сновидений.

А через год сам Чехов пишет рассказ «Спать хочется», где с необыкновенной художественной силой и научной достоверностью описывает страдания тринадцатилетней Варьки, измученной непосильным трудом и хроническим недосыпанием.

«…Ребенок плачет… А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее

высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка…»

В наполовину уснувшем утомленном Варькином мозгу возникают галлюцинации. То она видит темные облака, которые гоняются по небу друг за другом и кричат, как ребенок, то – покрытое грязью шоссе, по которому плетутся люди с котомками и носятся какие-то тени. «Вдруг люди с котомками и тенями падают на землю в жидкую грязь. „Зачем это?“ – спрашивает Варька. „Спать, спать!“ – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

А. П. Чехов с семьей во дворе дома на Садово-Кудринской в Москве

– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою… – мурлычет Варька…»

Окрики хозяина или хозяйки то и дело нарушают убаюкивающую музыку рассказа. Когда Варька засыпает, ее

поднимают затрещиной. А потом наступает утро и новый день непосильного труда.

В пятистраничном рассказе этом перед глазами читателя проходит вся безрадостная недетская варькина жизнь, лейтмотивом которой является мечта об отдыхе и сне.

Очередной ночью Варькой овладевает известное в психиатрии «ложное представление». В младенце, которого она баюкает, девочка видит врага. Трагический конец рассказа читатель помнит…

«Мне как медику кажется, что душевную боль я описал по всем правилам психиатрической науки!» – с гордостью заметил А. П. Чехов о своем рассказе «Припадок».

Чудесный рассказ этот был навеян личностью писателя В. М. Гаршина и его трагической кончиной.

Подобно томящемуся в сумасшедшем доме благородному герою «Красного цветка», готовому принять на себя страдания всего человечества и мечтающему о том времени, когда «распадутся железные решетки», томился и не выдержал вселенской боли Гаршин.

Рассказывают, что когда к нему, бросившемуся в лестничный пролет, подбежали люди и спросили, болит ли сломанная нога, он отрицательно покачал головой и показал на сердце. Болела израненная душа.

«…Таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним», – писал Антон Павлович, принимая предложение участвовать в сборнике, посвященном памяти Всеволода Гаршина.

«…Молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости» – так в общих чертах Чехов определяет замысел рассказа «Припадок» и облик главного его героя.

Уже в рассказе, давая расшифровку, что значит «гаршинская закваска», он напишет о студенте Васильеве: «…Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант – человеческий. Он обладает тонким великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т. п…»

Сам Антон Павлович, как заметил а своих воспоминаниях М. Горький, в совершенстве обладал этим же талантом тонкого чутья

к чужой боли. Поэтому с такой силой он смог прочувствовать и передать нам переживания старого извозчика Ионы Потапова, похоронившего сына, и токаря Григория Петрова, везущего в больницу умирающую жену и замерзающего по дороге (рассказ «Горе»), и Васильева – Гаршина, охваченного душевной болью за оскорбленных, униженных и погибающих женщин.

Терзаясь сознанием собственной ответственности за безмерное зло, творимое в Соболевом переулке – этом рабовладельческом рынке невольниц, Васильев бросает обвинение в лицо своим приятелям, а вместе с ними – и всему обществу:

«– …Послушайте, вы! – сказал он сердито и резко. – Зачем вы сюда ходите? Неужели… вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает… раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот – вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит, на обоих вас придется одна убитая женщина!.. Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину! Ах, да разве это не ужасно, боже мой?»

Характерное чеховское сострадательное отношение к униженным и оскорбленным в значительной степени идет от его медицинской профессии.

Сцена похода в Соболев переулок обрамляется вечерним зимним пейзажем, отражающим душевное состояние Васильева.

Вначале это – первый снегопад, от которого «все было мягко, бело, молодо, и от этого… фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой пушистый снег».

Но вот Васильев, переполненный ужасающими впечатлениями, выбежал на улицу.

Вновь шел снег.

«…И как может снег падать в этот переулок! – думал Васильев. – Будь прокляты эти дома!»

Потрясение, пережитое Васильевым, вызывает у него приступ неутолимой душевной боли.

Надо заметить, что «душевная боль» – не только образное выражение, но и медицинский термин, характеризующий тяжелое психическое страдание человека, при котором изменение настроения порой доходит до «безысходной» тоски, до

величайшего отчаяния.

Е. Б. Меве, проделавший сравнительное исследование описания душевной боли А. П. Чеховым и крупнейшими отечественными психиатрами С. С. Корсаковым и Н. И. Озерецким, должен был согласиться, что состояние это он описал «по всем правилам психиатрической науки». Медицинская подготовка писателя позволяла ему с поразительной простотой и ясностью говорить о самых сложных проявлениях человеческой психики.

«…Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах… Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плеврит и невралгии, но все это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной…»

В состоянии такой тяжелой депрессии больные нередко покушаются на самоубийство.

«…Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другою болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз, на черную, бурливую Яузу, и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую».

В таком же состоянии, желая одною болью заглушить другую, бросился в пролет лестничной клетки писатель Гаршин. Но, как мы уже знаем, израненная душа болит сильнее, чем сломанная нога.

По воспоминаниям современников Антона Павловича, особый интерес он проявлял к психиатрии, и, если бы не сделался писателем, то скорее всего стал бы специализироваться в этом разделе медицины, больше других имеющем дело с исследованием духовной деятельности человека.

Кстати, медицинский термин «психопат», появившийся в конце прошлого века и обозначающий пограничные с патологией расстройства нервной деятельности, быстро получил права гражданства у непрофессионалов благодаря творчеству А. П. Чехова, на что указывает в журнале «Невропатология и психиатрия» в 1958 г. О. В. Кербиков.

В рассказе «Психопаты» Антон Павлович дает строго научную характеристику этого состояния, выделяя такие свойства характера психопата, как мнительность, трусость, беспредметный страх («что-то будет!»).

Открытие явления стресса, т. е. неспецифической реакции организма на любое воздействие, считается выдающимся достижением современной физиологии и медицины. Приоритет в изучении механизмов стресса принадлежит крупнейшему канадскому ученому профессору Г. Селье. Отвечая несколько лет назад на вопрос корреспондента «Литературной газеты», Селье заметил: «…Психическое напряжение, срывы, чувство опасности и бесцельность являются наиболее разрушительными стрессами. Именно эти факторы чаще всего обусловливают возникновение физиологических расстройств, которые выражаются в мигренях, язвах желудка, сердечных приступах, гипертонии, психических заболеваниях, беспросветной тоске или самоубийствах…»

Не этими ли симптомами страдал главный герой пьесы «Иванов», не находивший удовлетворения в своих занятиях, в своем окружении, в образе жизни? Напомню только некоторые из его многочисленных жалоб.

«Лишние люди, лишние слова, необходимость отвечать на глупые вопросы – все это, доктор, утомило меня до болезни. Я стал раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя. По целым дням у меня голова болит, бессонница, шум в ушах…»

«Душу давит тоска», – признается Иванов жене, оправдывая свои отъезды из дома. «…Какая тоска! Не спрашивай, отчего это. Я сам не знаю… Здесь тоска, а поедешь к Лебедевым, там еще хуже; вернешься оттуда, а здесь опять тоска, и так всю ночь… Просто отчаяние!»

Частую причину отрицательных стрессов (дистрессов) Г. Селье видит в том, что человек переоценивает свои возможности: «…надо знать свои силы, не замахиваться слишком высоко и не пытаться разрешать задачи, которые выше ваших возможностей, – советует ученый. – У каждого из нас свои пределы. Для некоторых они близки к максимуму возможного, для других – к минимуму того, на что способен человек. Но в пределах своих возможностей каждый из нас должен стремиться к достижению своей вершины…» Это не лишне иметь ввиду каждому из нас.

Любопытно, что свое состояние Иванов объясняет тем, что он в юности не соразмерил своих сил, взвалил на себя «непосильную ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы». И ничего не сумел сделать, потому что хотел сделать больше обыкновенного. В тридцать лет он уже надорвался, утомился и

потерял всякий интерес к жизни.

И хотя причина болезни Иванова, как нам представляется, лежит глубже и является типичной болезнью либеральной интеллигенции конца прошлого века, нас не может не поразить почти дословное совпадение высказываний писателя и ученого. Невольно вспоминается один из шутливых афоризмов Антона Павловича о том, что «чутье художника стоит иногда мозгов ученого».

Показывая своих героев, как мы бы выразились сегодня, в стрессовых ситуациях, А. П. Чехов очень тонко подметид, что реакция на стресс строго индивидуальна и зависит от многих факторов, в том числе от социального положения человека. Так, для маленького забитого чиновника Червякова, случайно чихнувшего на лысину генерала Брызжалова, этого комичного эпизода оказалось достаточно, чтобы испугаться буквально насмерть, Блестящий пример чрезмерной реакции на простейшую ситуацию!

Ведущую роль психического стресса в развитии или усугублении соматической болезни Чехов показывал неоднократно. Например, в «Иванове» туберкулез у жены героя пьесы развивается на фоне ее постоянных душевных переживаний, связанных с изменой мужа. Земский врач Львов пытается усовестить Иванова: «…Самое главное лекарство от чахотки – это абсолютный покой, а ваша жена не знает ни минуты покоя. Ее постоянно волнуют ваши отношения к ней… Ваше поведение убивает ее».

И действительно, больная была сражена окончательно, когда Иванов в пылу ссоры произносит убийственную фразу: «Так знай же, что ты… скоро умрешь… Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь».

Смерть магистра Коврина (рассказ «Черный монах») не случайно совпадает с получением письма от несчастной Тани, жизнь которой он исковеркал.

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает… Этим я обязана тоже тебе… Мою душу жжет невыносимая боль…»

Убитая горем Таня проклинала его, желала его гибели, и от этого Коврину стало жутко. Механизм смертельного легочного кровотечения у туберкулезного больного, несомненно, связан с повышением артериального давления на почве стресса.

«…Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи», – писал А. П. Чехов в связи с рассказом «Именины». И потом был чрезвычайно обрадован, когда узнал, что читательницы признают в высшей

степени достоверной сцену родов в этом рассказе.

В описании «медицинских случаев» Чехов как художник верен себе: он предельно лаконичен и сдержан, но при этом умеет выбирать настолько существенное и характерное, что нескольких штрихов оказывается достаточно для воссоздания картины болезни.

Повесть «Мужики» открывается болезнью лакея гостиницы «Славянский базар» Николая Чикильдеева: «…У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина и горошек. Пришлось оставить место».

Если лакей, привыкший лавировать с подносами среди столиков, спотыкается и падает в пустом и свободном коридоре, значит, он действительно болен очень серьезно.

Как блестящее на плотине горлышко от разбитой бутылки создает иллюзию лунной ночи, так валенки в летнюю пору на ногах Чикильдеева позволяют читателю представить тяжело больного человека: «Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

– Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик! Где уж!»

В рассказе «Учитель» мы узнаем о смертельной болезни Федора Лукича Сысоева по тому, как он собирается к торжественному обеду: надевая парадный костюм и штиблеты, он так утомился, что вынужден был прилечь и выпить воды.

Буквально в двух фразах рассказано о болезни Павла Ивановича (рассказ «Гусев»), погибающего от туберкулеза: «Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается… От кашля, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами». Мы не удивляемся, когда вдруг обрываются обличительные монологи Павла Ивановича и мы узнаем, что этот «неспокойный человек» умер.

«Право, недурно быть врачом и понимать то, о чем пишешь», – заметил Антон Павлович в одном из своих писем.

Рассказы и пьесы доктора А. П. Чехова лучше многих специальных журналов и книг показывают, какие медицинские проблемы занимали помыслы людей на заре нынешнего века.

Такая «модная» сегодня болезнь, как рак, упоминается всего в трех произведениях Антона Павловича. Вернее, в двух, потому что смерть героя рассказа «Крыжовник» от рака желудка осталась только в первоначальных замыслах писателя.

В «Попрыгунье» доктор Дымов вскрывает труп больного злокачественной анемией и находит у него рак поджелудочной железы.

Более подробно онкологическая больная изображена в

повести «Три года».

Хочется отметить, что, редактируя эту повесть, которая задумывалась как роман, Антон Павлович производит значительные сокращения текста, но при этом сохраняет большинство подробностей, имеющих отношение к болезням ее героев.

Позволю себе напомнить сюжет этого широко известного произведения.

(Однако мне давно уже следовало оговориться, что разбирать по ниточкам произведения А. П. Чехова опасно: это разрушает их тончайшую художественную ткань. Чехова надо читать и перечитывать.)

Алексей Лаптев – сын московского купца-миллионера безнадежно влюблен в дочку провинциального врача Юлию Сергеевну. Он делает ей предложение и получает отказ. Но, поразмыслив, что брак с порядочным, образованным, добрым и любящим ее человеком может изменить ее неинтересную жизнь с капризным и эгоистичным отцом, Юлия Сергеевна соглашается.

После свадьбы молодые понимают, что совершили непоправимую ошибку, и глубоко страдают.

Рядом с ними живут и страдают близкие им люди: ослепший и брошенный всеми отец Алексея – основатель галантерейной торговли «Федор Лаптев и сыновья», потерявший рассудок брат Алексея, умирающая от рака грудной железы сестра Алексея – Нина Федоровна, на истории болезни которой мы и остановимся.

Нине Федоровне еще не исполнилось 40 лет. Мы застаем ее после операции – удаления груди.

Живет она в провинциальном городе (по улице мимо ее дома гоняют стадо). Но город, надо полагать, не маленький, потому что в нем практикуют 28 врачей – цифра по тем временам значительная, если учесть, что всего в России, когда писалась повесть, значилось чуть более 12,5 тысячи врачей. Больше всего врачей было сосредоточено в Петербурге (1500 врачей) и в Москве (1000 врачей). В сельской местности один врач обслуживал в среднем 33 тысячи человек, а в ряде губерний России один врач приходился на 50 и более тысяч жителей.

(Для сравнения заметим только, что сегодня лишь годовой прирост врачей в СССР в два с лишним раза превышает общую их численность в России чеховских времен, а всего у нас в стране, по данным на начало 1980-х годов, здоровье трудящихся охраняло уже более миллиона врачей различных специальностей.)

Однако вернемся к повести А. П. Чехова.

Чтобы сделать Нине Федоровне несложную операцию, хирурга приходится выписывать из Москвы – из местных медиков

никто не взялся. Дело, конечно, не в низкой квалификации докторов, а в боязни их подорвать свою репутацию.

Еще в средние века английский хирург Джон Арденский по этим же соображениям не советовал коллегам оперировать пациентов, страдающих злокачественными опухолями.

Возможно, что доктора, наблюдавшие Нину Федоровну, не знали о существовании такого хирурга и его советах, но в конце XIX в. эти заболевания, так же, как и 600 лет назад, в большинстве случаев заканчивались печально.

Судьба несчастной Нины Федоровны не явилась исключением: она таяла на глазах, слабела, и все ожидали возобновления болезни.

В записной книжке А. П. Чехова есть такие заметки, имеющие отношение к повести «Три года»: «Но неужели нельзя предотвратить рецидив? Ее отец, доктор, вздохнул и пожал плечами, как бы желая сказать, что врачи не боги».

Рецидив развился через несколько месяцев.

«…Резкая бледность делала ее похожей на мертвую, особенно, когда она лежала на спине…» – так рисует писатель портрет больной.

Онкология в то время еще не выделилась в отдельную отрасль медицины, и Алексей Лаптев хотел пригласить из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням. (Первое в России специализированное учреждение для лечения раковых больных, выросшее затем в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена, было открыто на средства, собранные в порядке частной инициативы, лишь в 1903 г. Здесь любопытно отметить, что первый директор Московского онкологического института профессор Л. Л. Левшин в 1898 г. оперировал отца А. П. Чехова по поводу ущемленной грыжи, а ему ассистировал на этой операции В. М. Зыков, который впоследствии сменил Левшина на посту директора.)

А. П. Чехов показывает, как на протяжении болезни изменяется психика Нины Федоровны.

Вначале она трезво оценивает свое положение: «…Нет уж, когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы».

Но стоило ей однажды почувствовать себя чуточку лучше, подняться на ноги, как вдруг появилась уверенность, что она выздоровеет. И потом, когда уже стало совсем плохо, «несмотря на сильные боли, она воображала, что выздоравливает, и каждое утро одевалась как здоровая, и целый день лежала в постели одетая».

Чехов как врач хорошо ориентирован в симптоматике

злокачественных опухолей. В 1900 г. на вопрос журналиста М. О. Меньшикова, какой болезнью страдает Л. Н. Толстой, он отвечает, что рака у него нет, так как эта болезнь прежде всего отразилась бы на аппетите, на общем состоянии, а главное, «лицо выдало бы рак, если бы он был. Вернее всего, что Л. Н. здоров… и проживет еще лет двадцать», – заключает Антон Павлович.

«Рак – болезнь тяжелая, невыносимая. Смерть от него страдальческая», – пишет А. П. Чехов Суворину и спешит поделиться с ним радостным известием из газеты «Врач», что найдено средство от рака.

К сожалению, сенсационное сообщение доктора Денисенко из Брянска об успешном лечении злокачественнх опухолей соком чистотела не нашло подтверждения в наблюдениях других врачей, о чем вскоре было доложено на заседаниях врачебных обществ Петербурга и Москвы, – их отчеты, несомненно, тоже были известны А. П. Чехову.

Нельзя не отметить, что в повести «Три года» Антон Павлович вскользь затронул коренной вопрос онкологии: муж больной, давая характеристику местным медикам, упрекает их втом, что они ничем не интересуются и не знают, что такое рак, отчего он происходит. Действительно, что же было известно об этой болезни к тому моменту, когда Чехов работал над повестью (1894 г.)?

Уже прошло более 100 лет с тех пор, как хирург лондонского госпиталя Персиваль Потт описал рак у трубочистов – профессиональный рак, возникающий, как он полагал, в результате длительного действия на кожу сажи. Но гипотеза Потта еще долго не находила подтверждения. Только в 1915 г. японским ученым К. Ямагиве и К. Ичикаве удастся вызвать у кроликов рак кожи путем воздействия на нее каменноугольной смолой и тем самым положить начало эре изучения химических канцерогенов.

Еще микробиологи А. Боррель и Ф. Боек не высказывали предположение, что опухоль может образовываться в результате вирусного воздействия, они напишут об этом только в 1903 г. Лишь в 1910 г. Пейтон Раус сумеет доказать это в опытах на курах, а спустя еще полвека этот 87-летний американский ученый получит за свою работу Нобелевскую премию.

Когда была опубликована повесть «Три года», только успел родиться будущий академик Лев Александрович Зильбер – выдающийся советский микробиолог, иммунолог и вирусолог, создавший современную вирусогенетическую концепцию рака.

Во второй половине XIX в. в онкологии господствовали две гипотезы: «Теория раздражения» Р. Вирхова, объясняющая

возникновение опухолей как результат воспалительного разрастания тканей на почве хронического их повреждения, и «теория эмбриональных зачатков» Ю. Конгейма, согласно которой опухоль появляется как следствие дефекта эмбрионального развития.

Антон Павлович, безусловно, был знаком с работой Рудольфа Вирхова «Учение об опухолях», которая появилась в 1867 г. Он очень высоко ценил этого немецкого патолога и в письме издателю А. С. Суворину ставит его рядом со своими учителями, выдающимися медиками – Н. И. Пироговым, С. П. Боткиным и Г. А. Захарьиным.

Однако А. П. Чехов понимал, что в теориях о происхождении рака много сложного, неясного. Когда один из героев его повести Панауров – муж больной Нины Федоровны принялся объяснять, что такое рак, Антон Павлович сделал ироническую ремарку: «Он был специалистом по всем наукам». И только одна Нина Федоровна была уверена, что рак грудной железы у нее от несчастной любви.

А. П. Чехов в селе Воздвиженском Уфимской губернии

Медицинский инструментарий А. П. Чехова

Большинству выдающихся открытий в онкологии еще только предстояло свершиться. И не случайно, что в век А. П. Чехова наука эта находилась в зачаточном состоянии: не рак «делал погоду» в статистике смертности населения. Рак – болезнь людей преимущественно пожилого и старого возраста. В конце же прошлого века средняя продолжительность жизни в России составляла чуть более 30 лет (а лечение в 60, говорит Чехов устами доктора Дорна из «Чайки», следует рассматривать как поступок весьма легкомысленный. Сегодня вряд ли кто заявит подобное. В наше время понятие о глубокой старости отодвинулось лет на 20–25, а лечение пожилых людей стало одной из главных забот советского здравоохранения).

Значительно чаще, чем рак, в произведениях и письмах Чехова упоминается чахотка, туберкулез.

Умирает от туберкулеза постоянно покашливающий, бледный и худой студент Саша – из последнего чеховского рассказа «Невеста»; безуспешно лечится от туберкулеза жена главного героя пьесы «Иванов»; задыхаются в пароходном лазарете по пути с Дальнего Востока на родину солдаты, больные последней стадией чахотки (рассказ «Гусев»).

Гневно звучат слова доктора Чехова, вложенные им в уста одного из героев этой драматичной истории:

«…Как это вы, тяжело больные, вместо того, чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка – все, одним словом, угрожает вам смертью… Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас… Для этого нужно только… не иметь совести и человеколюбия…» И действительно,

солдаты не' выдерживают этого далекого перехода. Они умирают один за другим, и их хоронят в море, зашивая в саван из парусины.

Интерес Чехова к туберкулезу нельзя объяснить только тем, что сам писатель был смертельно болен этой болезнью. Вспомним погибшую от чахотки Марусю Приклонскую из рассказа «Цветы запоздалые», который он написал, будучи еще здоровым. Чахотка в то недалекое от нас время была самым распространенным заболеванием и занимала первое место среди причин смерти. Даже эпидемия холеры 1892 г., в ликвидации которой участвовал земский врач А. П. Чехов, унесшая в России около 300 000 жизней, наделала меньше бед, чем ежегодно приносил туберкулез. И когда в 1897 г. в России боялись эпидемии чумы, Чехов писал Суворину, что «и без чумы у нас из 1000 доживает до 5-летнего возраста едва 400, а в деревнях и городах на фабриках и в задних улицах не найдете ни одной здоровой женщины…»

Система противотуберкулезных государственных мероприятий в России только зарождалась: первая специализированная противотуберкулезная амбулатория в Москве была открыта лишь в 1904 году. Еще через 10 лет в стране функционировало всего 67 небольших амбулаторий и несколько санаториев, рассчитанных на неполные 2000 коек. Научно-исследовательские институты по борьбе с туберкулезом появились в России лишь после Великой Октябрьской социалистической революции.

Недоедание и голод в значительной степени способствуют распространению туберкулеза. И в рассказе «Устрицы» Антон Павлович дает великолепное описание «странной болезни», как он определяет голод, болезни, которой нет в учебниках, самой распространенной в то время, от которой и сегодня еще не застрахована половина населения земного шара. От того, что симптомы голода передаются через восприятие восьмилетнего ребенка, они излагаются чрезвычайно просто. Но именно это берет читателя за живое:

«…Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок… По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание».

Не зря в письме секретарю редакции «Осколков» В. В. Билибину Антон Павлович пишет по поводу «Устриц», что в этом рассказе «пробовал себя, как medicus». И опять «медицинские мотивы» приобретают социальное звучание: на четырех страницах текста сошлись вместе смертельный голод и пища жирных – устрицы.

Социально-экономический прогресс и огромные достижения медицины в борьбе с инфекциями, детской смертностью и туберкулезом привели к тому, что люди стали жить гораздо дольше: в СССР средняя продолжительность жизни увеличилась в 2 с лишним раза по сравнению с концом прошлого века, когда жил А. П. Чехов. В настоящее время в Советском Союзе, как и в других странах Европы и в США, средняя продолжительность жизни составляет около 70 лет. По прогнозам демографов, она будет увеличиваться и к 2000 году превысит 73,5 года.

Наступление на инфекционные болезни велось путем охраны водоисточников, уничтожения насекомых – переносчиков заболеваний, распространения профилактических прививок, широкого применения антибиотиков.

Старшее поколение наших современников постепенно забывает, а младшее не знает такие болезни, как тиф, чума, холера, оспа, которые, по меткому выражению А. И. Герцена, были «домашними» в России.

Сегодня на авансцену вышли другие болезни. И другие врачи, вооруженные точнейшими знаниями биологии, оснащенные новейшей аппаратурой и медикаментозными средствами, пришли в клиники.

Но с замиранием сердца мы следим за развитием болезни доктора Дымова; до слез нас трогает судьба задыхающихся в корабельном лазарете бунтаря Павла Ивановича и тихого безропотного Гусева; нельзя спокойно читать об участи узников палаты № 6.

И даже когда вовсе исчезнут с лица земли болезни, описанные Чеховым, «чужая боль», выстраданная гениальным писателем, будет тревожить и возбуждать человеческие сердца.

Медицина не может упрекать меня в измене…

Если бы надо было предпослать этой главе эпиграф, я взял бы его из статьи Антона Павловича о Н. М. Пржевальском.

«…Подвижники нужны как солнце, – писал Чехов. – …Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что… есть еще люди подвига, веры и ясно сознанной цели. Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка… Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятен весь ужас его смерти вдали от родины… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

Публикация эта появилась примерно за год до того, как в письмах А. П. Чехова зафиксированы первые упоминания о готовящейся поездке на Сахалин.

Поскольку Антон Павлович не афишировал предстоящую поездку, и для многих даже самых близких людей она явилась неожиданной, можно предположить, что он задумал ее раньше, чем можно считать, ориентируясь на его письма. По крайней мере, когда Антон Павлович писал очерк о Пржевальском, он был уже морально готов к опасностям и лишениям, которые выпадут на его долю.

Во времена Чехова о Сахалине сложили пословицу: «Кругом море, а посередине – горе».

Антон Павлович считает для себя необходимым окунуться в это горе, побывать на этом острове невыносимых человеческих страданий.

«…В места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку», – пишет он А. С. Суворину, высказавшему сомнение в целесообразности чеховской затеи.

Он словно заболел этим островом, только и думает о нем, определяя свое состояние как «Mania Sachalinosa». На протяжении нескольких месяцев. Антон Павлович тщательно готовится к путешествию. Изучает и реферирует уйму литературы очень широкого диапазона: от истории открытия и освоения острова

(«…Не далее, как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека…») до статей по геологии, этнографии и уголовному праву. Вот где ему пригодился опыт работы с научной литературой, приобретенный еще в студенческие годы, когда он собирался писать диссертацию по истории врачебного дела в России.

А. П. Чехов критически оценивает попадающиеся ему в руки материалы, бракуя статьи, которые писались людьми, знающими о Сахалине только понаслышке, или теми, кто «на сахалинском вопросе капитал нажили и невинность соблюли».

В последующем, в процессе работы над своими очерками, Чехов снимет многие ссылки на недостоверные источники, противопоставляя им данные, полученные им самим. А по поводу «похвального слова» сахалинской каторге, произнесенного генерал-губернатором А. Н. Корфом в присутствии писателя, заметит, что это «не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция ссыльных женщин, телесные наказания».

Так или иначе, но книги открыли ему глаза на то, чего он раньше не знал и что, по убеждению Чехова, «под страхом 40 плетей» следует знать всякому: «… Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это свалили на тюремных красноносых смотрителей…»

Антон Павлович был убежден, что публика должна иметь правдивую информацию о местах человеческих страданий. Доктор П. А. Архангельский вспоминает реакцию Чехова на составленный им «Отчет по осмотру русских психиатрических заведений»: «А. П. заинтересовался „Отчетом“, пересмотрел его, тщательно прочел его заключительную часть и обратился ко мне с вопросом: „А ведь хорошо бы описать так же тюрьмы, как вы думаете?“

Следует отметить, что разговор этот происходил за несколько лет до путешествия Чехова на Сахалин.

В одном из очерков А. Моруа проводит любопытную мысль, что в своем творчестве писатель «компенсирует себя как может за некие несправедливости судьбы», возобновляя жизнь в своих произведениях под новой маской. Так, по его мнению, Фабриций в «Пармской обители» – это Стендаль в роли молодого и красивого аристократа.

О стремлении писателя освободиться в литературной форме от неотступного требования действием удовлетворить свои

подавленные грезы и желания говорит выдающийся английский романист У. С. Моэм. И поэтому «…писатель, человек словесного творчества, всячески прославляет человека практических действий, невольно завидуя ему и восхищаясь им…»

Несложно заметить связь между А. П. Чеховым и некоторыми из его героев. Но он не прячет свое лицо за чужой маской.

Хотя научная карьера Антона Павловича не удалась, он не изображает себя в образе преуспевающего профессора, а, превозмогая тяжелую болезнь, едет на Сахалин, где проделывает большую научно-исследовательскую работу.

Отправляясь на Сахалин, скромнейший Антон Павлович пишет А. С. Суворину: «…Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий… Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине…»

Последнее признание представляется весьма существенным: Чехов собирается взглянуть на каторгу глазами врача. Да и удостоверение личности Чехова, подписанное начальником острова, представляет его предъявителя лекарем, а не писателем.

Но прежде надо было попасть на далекий остров.

Из Москвы он выехал в середине апреля 1890 г.

Год его поездки совпал с круглой датой другого «путешествия» – столетием со дня выхода в свет книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». На этот факт обратил мое внимание Г. И. Мироманов – житель Южно-Сахалинска, страстный почитатель А. П. Чехова.

Мироманов прошел за Чеховым по Сахалину и в местной печати опубликовал целую серию интересных очерков. Он прошел не только по тем поселениям, которые посетил Чехов; Г. И. Мироманов мысленно проложил путь к самой идее путешествия Антона Павловича на Сахалин. Выстраивая логический ряд доказательств, он увидел прямую связь между этими двумя путешествиями. Поскольку исследования Мироманова по этому поводу еще не опубликованы, для аргументации его точки зрения позволю себе привести выдержки из его письма ко мне:

«Доказательств взаимосвязи „Путешествия“ Радищева и путешествия А. П. Чехова на Сахалин у меня предостаточно. Вот только один пример. В письме к брату Ал. П. Чехову от 24 марта 1888 года есть такие строки: „Кланяйся Суворинам. Неделя, прожитая у них, промелькнула как единый миг, про который устами Пушкина могу сказать: „Я помню чудное мгновенье…“ В одну неделю было пережито и ландо, и философия, и романсы Павловской, и путешествие ночью в типографию, и „Колокол“, и

шампанское, и даже сватовство…“

Именно в это время в суворинской типографии шла перепечатка «Путешествия» Радищева. И, по всей вероятности, Чехов и Суворин пришли ночью в типографию, чтобы посмотреть на эту перепечатку. Поэтому Антон Павлович выбрал из большого синонимического ряда слов именно **путешествие**. Казалось бы, в данном случае правильнее было бы – визит, посещение, прогулка, вояж, если бы не книга Радищева.

14 июля 1888 года в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) Антон Павлович пишет: «Целый день мы (т. е. Чехов и Суворин, у которого он отдыхал в Феодосии. – Б. Ш.) проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще не приподнятых вопросов».

Что же это были за вопросы? Суворин издает крамольное «Путешествие» Радищева. Его сын А. А. Суворин издает исследование «Княгиня К. Р. Дашкова». Покровитель А. Н. Радищева князь А. Р. Воронцов и К. Р. Дашкова-Воронцова – брат и сестра. Катерина Романовна принимала посильное участие в судьбе Радищева. И, по всей видимости, среди тех тем, которые обсуждались Чеховым с Сувориным, были вопросы, связанные с «Путешествием из Петербурга в Москву» и планируемым в юбилейном году путешествием Чехова на Сахалин…»

В логический ряд косвенных доказательств связи между этими двумя путешествиями Г. И. Мироманов ввел также тот любопытный факт, что в Таганроге – на родине А. П. Чехова – с 1856 по 1865 г. проживал сын Радищева Павел Александрович. И если все доводы Г. И. Мироманова можно оспаривать, то влияние книги Радищева на чеховские путевые заметки несомненно: та же тональность в обличении «чудища», которое «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Сравните хотя бы две фразы, свидетельствующие об авторском отношении к предмету наблюдений:

«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала…» – начинает свой рассказ Радищев.

«…Я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти», – вторит ему Чехов.

Можно привести еще целый ряд аналогичных примеров почти дословных совпадений, но это не входит в мою задачу. Однако не могу удержаться, чтобы не отметить, что чеховским предзнаменованиям счастливейшего будущего сибирской земли за сто лет предшествовали пророческие слова А. Н. Радищева, конвоируемого в Илимский острог: «Как богата Сибирь своими природными дарами! Какой это мощный край!.. Ей предстоит

сыграть великую роль в летописях мира…»

Дорога Антона Павловича до Сахалина продолжалась почти три месяца – 81 день.

Это был трудный и рискованный путь в открытой повозке то под холодным дождем по гиблой грязи с переправами через бурные в половодье реки, то в жару и зной сквозь удушливый дым лесных пожаров.

«…От неспанья и постоянной возни с багажом, от прыганья и голодовки было кровохарканье, которое портило мне настроение, и без того неважное», – признается писатель в одном из писем с дороги.

В связи с этим мне представляются по меньшей мере неубедительными попытки некоторых биографов Чехова (в частности, Юрия Соболева) объяснить мотивы этой поездки бегством писателя от «скучной и нудной жизни», которую он якобы влачил до сих пор.

Описывая свое первое появление на острове, когда толпа каторжан, стоявших возле пристани, выполняя одно из унизительных правил устава, словно по команде сняла перед ним шапки, А. П. Чехов не удержится от иронического замечания: «… Такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор…»

И хотя каторжане не знали, кого они приветствуют, в факте этом, по моему мнению, содержится что-то символическое: сегодня любой просвещенный и честный человек готов снять шляпу перед автором «Острова Сахалина».

«…Чувство благодарности за большое духовное наслаждение, доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине», – напишет в своих воспоминаниях известный юрист и литератор А. Ф. Кони.

С нашей склонностью все округлять я чуть-чуть не написал, что Чехов пробыл на Сахалине 3 месяца, тогда как сам Антон Павлович точно указал: 3 месяца и 2 дня.

Эта точность – лишнее доказательство того, как нелегко ему далась эта жизнь в аду.

За это, в общем-то, короткое время Чеховым была проделана колоссальная работа: он прошел весь остров с севера на юг, побывал почти во всех населенных пунктах и познакомился с жизнью большинства ссыльных. Он был на ногах с пяти утра до поздней ночи. «…Я видел все, кроме смертной казни», – напишет он по возвращении.

Чехов говорил, что материала, собранного им на Сахалине, «хватило бы на три диссертации», хотя не без основания

подозревал, что какие-то существенные стороны сахалинской действительности от него были скрыты.

Сейчас доподлинно известно, что начальник Главного тюремного управления М. Н. Галкин-Враский отдал тайное распоряжение не допускать Антона Павловича до общения с политическими ссыльными. Это указание из столицы породило секретный приказ начальника острова, направленный в округа, который цитируется здесь по книге Н. И. Гитович «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова»: «Выдав свидетельство лекарю Антону Павловичу Чехову о том, что ему разрешается собирать разные статистические сведения и материалы, необходимые для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги и поселений, с правом посещения им тюрем и поселений, поручаю Вам иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы Чехов не имел никаких сношений с ссыльно-каторжными, сосланными за государственные преступления и административно сосланными, состоящими под надзором полиции».

Приехав на остров, Антон Павлович должен был дать слово генерал-губернатору, что не будет иметь никакого общения с политическими заключенными.

А. П. Чехов и группа актеров МХТа

А. П. Чехов с земскими деятелями

Чтобы знакомство с жизнью ссыльных не было поверхностным, А. П. Чехов единолично проводит перепись всего населения по специально разработанной им подробной анкете, содержащей 12 пунктов. Администрация острова предложила ему помощника, но он решительно отказался, поскольку, заполняя анкету, имел возможность побеседовать с опрашиваемым. Не без гордости отметил он в письме Суворину: «…на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной…»

А. П. Чехов привез домой более 10 тысяч статистических карт, позволивших провести глубокое медико-социологическое исследование. И хотя Антон Павлович с присущей ему скромностью заметит, что результаты исследования не могут отличаться полнотой, более серьезных данных не найти ни в литературе того времени, ни в сахалинских канцеляриях. К этому следует добавить, что, по данным нашего современника, исследователя творчества Чехова Е. Б. Меве, перепись населения на острове, произведенная Чеховым, была первой частичной переписью в России, в основу которой был положен научно-статистический метод разработки.

О том, что Чехов прекрасно понимал разрушительную силу молчаливых цифр, добытых статистическим методом, свидетельствует фраза из рассказа «Крыжовник»: «Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания…»

Книга «Остров Сахалин» носит скромный подзаголовок: «Из путевых записок». Но, по существу, это серьезный научно-исследовательский труд. Ради академичности работы Чехов отказался от детективно-занимательных сюжетов, которыми щедро снабжала его каторга. Однако в отличие от обычных научных работ, в которых процесс познания ученым предмета исследования остается «за сценой», в «Острове Сахалине» читатель становится очевидцем и участником проводимого исследования.

Особое значение Антон Павлович придавал материалам переписи детского населения. В архиве писателя хранится 2122 статистические карты, в которых зафиксированы все малолетние обитатели острова. А вот как он рисует обобщенный портрет «сахалинского ребенка»:

«…Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубище и всегда хотят есть. Жизнь впроголодь, питание иногда по целым месяцам одною только брюквой, а у достаточных – одною соленою рыбой, низкая температура и сырость убивают детский организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу перерождая все его ткани…»

Дети в условиях каторги обречены на вымирание, и матери хотят только одного: чтобы «господь милосердный прибрал их поскорее…»

Антон Павлович, справедливо считавший проституцию одним из самых позорных явлений российской действительности, с особой болью рассказывает о сахалинских девочках, вынужденных торговать своим телом, описывает семьи, в которых мать и дочь «обе поступают в сожительницы к поселенцам и обе начинают рожать как бы вперегонку».

Страшная участь сахалинских детей не идет у него из головы. Это – как тяжелейшее потрясение. Антон Павлович еще не раз возвратится к этой теме.

«Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных, – сообщает он в одном из писем к А. Ф. Кони. – Проституцией начинают заниматься девочки с двенадцати лет. Школа существует только на бумаге – воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка…»

После возвращения домой А. П Чехов пытается хоть минимально улучшить положение сахалинской детворы: собирает по подписке деньги, посылает на остров книги и учебные пособия, хлопочет об открытии приютов. Сегодня благодаря архивным изысканиям М. В. Теплинского, Г. И. Мироманова и других исследователей мы точно знаем, что 31 *тая* 1891 года пароход

«Кострома» доставил на Сахалин вместе с очередной партией ссыльнокаторжных чеховскую посылку – семь больших ящиков, в которых было упаковано почти 3500 экземпляров книг, учебников и школьных программ.

Особую окраску очеркам придают описания сахалинской природы, которую Чехов чаще всего показывает в восприятии осужденного на каторгу человека. «Каторжане, глядя на мрачный берег Дуэ, плакали». «…Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь…»

Писатель постоянно подчеркивает, что на острове все предназначено для угнетения человека. И даже такая живописная деталь, как ворота, – «не простые обывательские ворота, а вход в тюрьму».

И когда на острове по случаю прибытия генерал-губернатора устраивается фейерверк, А. П. Чехов замечает: «…Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой, а музыка… наводит только смертельную тоску».

Трубы и барабаны военного оркестра не в состоянии заглушить мерный звон кандалов, который слышится и в шуме морского прибоя, и в гуденье телеграфных столбов, и даже в мертвой тишине острова.

Звон кандалов – тот камертон, по которому А. П. Чехов настраивает свое перо, когда пишет эту страшную в своей правдивости и обыденности книгу.

Завершающая глава очерков целиком посвящена материалам о заболеваемости и смертности каторжан, а также организации их медицинского обслуживания. Такие исследования дают яркое представление о состоянии здоровья населения в зависимости от степени доступности врачебной помощи, выявляют связь между заболеваемостью и определенными социально-экономическими факторами.

На методологии исследования, несомненно, сказалось влияние работ Е. А. Осипова и П. И. Куркина, которые в 80-х годах впервые в России начали проводить широкое изучение заболеваемости и смертности сельского населения Московской губернии.

Для выяснения этих вопросов А. П. Чехов использовал материалы больничных отчетов, а главное – метрических книг, из

которых он выписал причины смерти за последние 10 лет.

Совсем недавно краеведу из Южно-Сахалинска Г. И. Мироманову, уже неоднократно упоминавшемуся мной, удалось обнаружить и подвергнуть тщательному изучению метрические книги, которыми пользовался А. П. Чехов. Теперь мы можем назвать фамилии всех сахалинцев, умерших на острове за 10 лет (а их было 1241), и поименно расшифровать ряды печальной статистики, приводимой Чеховым. Так, например, в метрической книге поста Александровска за 1890 год в разделе умерших под № 54 имеется запись: «7 июля умер, а 9 похоронен административно-ссыльный А. Карпенко. Диагноз – чахотка». Умерший – земляк писателя, таганрожец, политический ссыльный, похороненный за два дня до приезда Чехова на Сахалин. Писатель непременно рассказал бы о нем на страницах книги, если бы не обещание не касаться этой темы.

Антон Павлович предупреждает, что данные, полученные им, нельзя считать полными и абсолютно достоверными, так как в метрические книги записываются только христиане; при этом регистрация производится священником по записке врача или фельдшера, и Чехов встречал там самые невообразимые диагнозы, как, например, «неразвитость к жизни».

И все-таки эти источники информации позволили исследователю сделать важный вывод о том, что основной причиной смерти ссыльного населения является туберкулез легких, свирепствующий на острове.

Он вскрывает специфические причины распространения этой болезни на Сахалине: «…Значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит, главным образом, от неблагоприятных условий жизни в общих тюремных камерах и непосильной тяжести каторжных работ, отнимающих у рабочего больше, чем может дать ему тюремная пища. Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине – вот главные причины „сахалинской чахотки“.

А. П. Чехов не обошел своим вниманием и тюремную медицину. Он показал, как за лоснящимся фасадом, украшенным бюстом С. П. Боткина, процветают воровство, равнодушие и даже садизм.

Когда Антон Павлович увидел на руднике старика-кавказца в глубоком обмороке и попросил врача дать ему хоть валериановых капель, выяснилось, что в аптечке нет никаких лекарств.

А. П. Чехов встречал на острове большое количество ран и трофических язв, но ни разу не слышал запаха йодоформа. И все

это при том, что по отчетным данным на лекарства уходили громадные суммы.

Точно так же обстояло дело с простейшим медицинским инструментарием. Антон Павлович в тюремном лазарете попытался вскрыть гнойник, и ему все время подавали крайне тупые скальпели. Между тем смета, отпущенная на лазарет, в 2,5 раза превышала расходы лучшей в Московской губернии Серпуховской земской больницы.

Обстановка Александровского лазарета потрясает своим ужасом: «В бараке, где находятся больные, на одной кровати лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом; рана в полвершка длины, сухая, зияющая; слышно, как сипит воздух. Больной жалуется, что на работе его придавило обвалом и ушибло ему бок: он просился в околоток, но фельдшер не принял его, и он, не перенеся этой обиды, покусился на самоубийство, – хотел зарезаться. Повязки на шее нет, рана предоставлена себе самой. Направо от этого больного, на расстоянии 3–4 аршина от него, – китаец с гангреной, налево – каторжный с рожей… У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то подозрительный на вид, точно по нему ходили».

В эпоху таких выдающихся врачей, как Г. А. Захарьин и С. П. Боткин, лечение в тюремном лазарете превращается в профанацию медицины: врач должен ставить диагноз, не прикоснувшись к больному, на расстоянии, так как между ним и пациентом – преграда из деревянной решетки и надзиратели с револьверами.

Во что можно превратить самую гуманную на земле профессию, писатель показывает в наблюдаемой им сцене освидетельствования перед наказанием:

«…Доктор, молодой немец, приказал… раздеться и выслушал сердце для того, чтобы определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра…»

Больничные порядки на острове отстали от цивилизации, по мнению А. П. Чехова, на два века, и он не удивился бы, если бы увидел, что умалишенных здесь сжигают на кострах по указанию тюремных врачей.

К обвинительному заключению русской каторге, собранному писателем и журналистом, добавились материалы, добытые Чеховым-врачом.

Над «Сахалином» Антон Павлович работал долго. Он планировал отдать этой книге «годика три» и считал, что хотя и не является специалистом, но «напишет кое-что дельное». Он очень серьезно смотрел на эту свою работу и мечтал, чтобы книга,

пережив автора, стала «литературным источником и пособием для всех интересующихся тюрьмоведением».

«…Мой „Сахалин“ – труд академический… – напишет он А. С. Суворину после завершения работы над книгой. – Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат…»

Книге этой он придавал серьезное значение и однажды в присутствии Михаила Павловича высказал предположение, что за нее ему могут присудить степень доктора медицины honoris causa.

Если подходить к этой его работе со строгих позиций современного ВАКа, то она, как принято формулировать в таких случаях, удовлетворяет всем самым высоким требованиям, предъявляемым к диссертациям, а ее автор, совершивший гражданский и научный подвиг, несомненно, заслуживает искомой степени.

Но в этом ему было отказано: декан медицинского факультета, к которому обратился однокашник и друг Антона Павловича профессор Г. И. Россолимо, не пожелал даже разговаривать с ним на эту тему. Дело, конечно, не в том, что патологоанатом профессор И. Ф. Клейн не оценил по достоинству научного значения работы А. П. Чехова. И не в том, что на ученую степень претендовал автор «легкомысленных» рассказов, вчерашний Антоша Чехонте, как предположительно объяснял причину отказа К. И. Чуковский.

Присуждение ученой степени автору «Острова Сахалина» означало бы официальное признание столь крамольной книги, а вместе с тем – существования тех чудовищных явлений, которые в ней описаны.

Однако книга Чехова выполнила ту задачу, которую ставил перед собой автор: она потрясла читающую публику, возбудив интерес общества к «острову изгнания» не только в России, но и за рубежом.

А. П. Чехов с таксой Хиной на крыльце дома в Мелихове

По примеру Антона Павловича на Сахалин устремились прогрессивные журналисты. Известный репортер и фельетонист В. М. Дорошевич рассказывал, что его долго не допускали на остров:

«– Тут, батюшка, Чехова пустили – так потом каялись. Пошли из Петербурга запросы… Как у вас? Что? Почему? Отчего такие порядки? Потом себя кляли, что показали!»

Под влиянием общественного мнения царское правительство вынуждено было направить на Сахалин своих ревизоров и произвести некоторые реформы в положении каторжных и ссыльных.

С. Залыгин в эссе о Чехове утверждает, что тема острова Сахалин сказалась всего на двух рассказах Антона Павловича: «Гусев» и «Убийство». Более того, С. Залыгин пишет: «…он (А. П. Чехов. – Б. Ш.) отлучает остров Сахалин от своего искусства».

С мнением уважаемого нашего писателя согласиться трудно: сахалинские впечатления, несомненно, отразились на чеховском

творчестве последующих лет. Выражаясь словами Антона Павловича, можно сказать, что все оно «просахалинено». Особенно это определение справедливо для одного из самых замечательных произведений А. П. Чехова – повести «Палата № 6».

Гнетущая атмосфера рагинской больницы почти дословно списана с больничного околотка села Корсаковки: «В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра…»

Все в этой повести вызывает тюремные ассоциации: и унылый вид больничного флигеля, и окружающий его забор, утыканный гвоздями с остриями, обращенными кверху, и бесправные больные, осужденные на бессрочную каторгу, и красноносый охранник Никита, который убежден, что больных «для порядка» надо бить. Даже возникновение заболевания у одного из главных героев «Палаты № 6» является как бы логическим завершением судьбы ничем не защищенной личности в условиях полицейско-тюремного режима.

Когда Иван Дмитрии Громов встречал на улицах арестантов, они обычно возбуждали в нем чувство сострадания. Но однажды «ему вдруг… показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму… Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму… А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного… Ищи потом справедливости… Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства?…»

Я полагаю, нет больше необходимости доказывать, что «Палата № 6», по сути дела, представляет собой яркое художественное воплощение сахалинских впечатлений писателя. Только в повести рамки каторги значительно расширены и нет той водной преграды, которая отделяет невольничий остров от якобы свободного материка. Идейный смысл этих книг полностью

совпадает: общество должно осознать себя и ужаснуться, как это случилось с доктором Рагиным, ставшим узником палаты № 6. Познакомившись с тяжелыми кулаками Никиты, бывший доктор от боли «укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди…»

Спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 000 удачных операций…

А. П. Чехов, создавший целую галерею портретов врачей самых разнообразных специальностей, исключительно редко обращался в своем творчестве к образу хирурга и ни разу не показал хирурга во время операции.

Конечно, не потому что терапевт А. П. Чехов пренебрежительно относился к своим коллегам-хирургам. Нельзя всерьез воспринимать реплику фельдшера Курятина, удаляющего зуб у дьячка Вонмигласова: «Хирургия – пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки. Раз плюнуть…»

Антон Павлович не переставал восхищаться успехами современной ему медицины: «…Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет. Изучающему теперь медицину время, бывшее 20 лет назад, представляется просто жалким» – это сказано уже серьезно.

Сегодня мы знаем, что великий русский писатель сам сыграл исключительную роль в развитии научной хирургической мысли и в подготовке хирургических кадров, приняв активное участие в издании хирургического журнала.

В 1896 г. из-за отсутствия кредита прекратил существование московский журнал «Хирургическая летопись».

Журнал этот начал выходить в 1891 г. Несмотря на то, что число подписчиков его из года в год увеличивалось и «Хирургическая летопись» пользовалась успехом уже и в Европе, издатели журнала терпели убыток, который несколько лет покрывал из своих средств один из редакторов «Летописи» выдающийся русский хирург, профессор Николай Васильевич Склифосовский (его имя сегодня носит Московский институт скорой помощи – крупнейший в стране).

Но в 1893 г. профессор Н. В. Склифосовский получил назначение на работу в Петербург, где вскоре стал редактировать журнал «Летопись русской хирургии». В 1895 г. он был вынужден предупредить второго редактора московского журнала профессора П. И. Дьяконова о том, что не сумеет в дальнейшем покрывать убытки.

Петр Иванович Дьяконов через своего друга и однокашника Ивана Германовича Витте, работавшего хирургом в Серпуховской больнице, обратился за советом к Чехову.

Угрозу гибели передового медицинского журнала из-за

полутора-двух тысяч рублей Антон Павлович расценил как очередную нелепость российской действительности. Если бы не затеянная им уже постройка школы в Талеже – в нескольких верстах от Мелихова, потребовавшая всех его небольших финансовых сбережений, он сам взялся бы издавать журнал.

Чехов прекрасно понимал, что хирургический журнал особенно необходим в дни, когда пробивали себе дорогу асептика и антисептика, способные коренным образом изменить мрачную атмосферу хирургических клиник, когда надо было с этих новых позиций учить и переучивать хирургические кадры.

«…Чтобы спасти журнал, я готов идти к кому угодно и стоять в чьей угодно передней, – пишет А. П. Чехов Суворину, спрашивая совета, каким образом можно получить субсидию для издания журнала. – И если мне удастся, то я вздохну с облегчением и чувством удовольствия, ибо спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 000 удачных операций…»

Хлопоты о спасении журнала А. П. Чехов взвалил на себя добровольно и вполне обдуманно. По его глубокому убеждению, оба редактора журнала – маститые хирурги, профессора Н. В. Склифосовский и П. И. Дьяконов – были людьми в практическом отношении наивными, настоящими детьми. Среди врачей Чехов был одним из немногих, кто имел опыт общения с издательским миром.

Впоследствии Петр Иванович Дьяконов писал Антону Павловичу: «…Вы единственный человек, глубоко и верно понимающий значение журнала, и без Вас он не появился бы…»

А. С. Суворин, откликнувшись на призыв Чехова, согласился взаимообразно предоставить субсидию в полторы тысячи рублей.

Ответное письмо Антона Павловича по этому поводу полно ликования: «…Что касается „Хирургической летописи“, то она сама, все хирургические инструменты, бандажи, бутылки с карболкой кланяются Вам до земли», – в шутливом тоне благодарит он Суворина и обещает в кратчайшие сроки возвратить ссуду.

Но ровно через две недели Антону Павловичу приходится «бить отбой» и под благовидным предлогом отказываться от суворинских денег.

Дело в том, что Петр Иванович Дьяконов – человек передовых взглядов, убежденный демократ, сам бывший земский хирург и любимец земских хирургов – отказался принять подачку от реакционера Суворина даже под угрозой «голодной» смерти своего детища.

Профессор Дьяконов был старше Чехова на 5 лет. Антон Павлович знал его непростой путь к врачебному диплому: в свое

время Петр Иванович был исключен из Медико-хирургической академии по обвинению в политической пропаганде среди рабочих. Прежде, чем получить звание лекаря, он, мобилизованный на русско-турецкую войну, испытал на себе все трудности солдатской службы. После окончания военной кампании Дьяконов возобновил учебу в академии, но вновь был подвергнут аресту, правда, уже во время выпускных экзаменов. Молодому специалисту запрещалось практиковать в столице, и он уехал в родную Орловскую губернию, где стал земским хирургом.

Антон Павлович не стал убеждать профессора Дьяконова, как это делал нередко, что Суворин-человек и Суворин – редактор «Нового времени» – два разных лица.

По-видимому, принципиальная позиция Дьяконова, хотя и осложнила решение проблемы, но в конечном итоге была одобрена Чеховым, и он вступил в переговоры с книгоиздателем И. Д. Сытиным.[44]

Ясно сознавая, что хирургический журнал – не обычный коммерческий журнал и что служит он особым, высоким целям, Антон Павлович едко стыдил издателя И. Д. Сытина: «…Вы начинаете разговор насчет сметы, точно речь шла о постройке казармы…»

Трудности, однако, заключались не только в том, чтобы подыскать издателя. Поскольку «Хирургическая летопись» прекратила уже свое существование, надо было получить еще разрешение от властей на издание нового журнала.

Будучи в Петербурге на премьере «Чайки», Антон Павлович от имени Дьяконова подает прошение в Главное управление по делам печати и потом через своих знакомых торопит решение. Он вникает во все вопросы, касающиеся издания журнала, вплоть до подбора сотрудников редакции. Сохранилось письмо Чехова, адресованное его товарищу по университету доктору Н. И. Коробову: «…Милый Николай Иванович, на сих днях, вероятно, будет разрешено проф. Дьяконову издавать журнал „Хирургия“. Если ты не раздумал принимать участие в издании хирургического журнала в его хозяйственной части (следить, чтобы типография Сытина своевременно доставляла корректуру статей, чтобы своевременно высылался гонорар авторам и проч.), то побывай у Дьяконова…»

Кстати, это Антон Павлович дал журналу новое имя: «Хирургия» – краткое, простое и выразительное, как все чеховские названия.

Разрешение из Петербурга было получено только 4 января 1897 г.

К этому моменту И, Д. Сытин, который и ранее колебался в

своем решении (отказывал и обещал в одно и то же время, как заметил однажды А. П. Чехов), вовсе раздумал издавать журнал.

Встревоженный П. И. Дьяконов срочно сигнализирует Антону Павловичу и просит повлиять на Сытина: «…Подвинтите, ради бога, Сытина, чтобы он не впадал в уныние и не пятился назад…»

Чехов без промедления снова вступает в переговоры с издателем, и, наконец, соглашение достигнуто. 11 января 1897 г. он направляет А. С. Суворину письмо. «…„Хирургия“ разрешена. Начинаем издавать. Будьте добры, окажите услугу – велите напечатать прилагаемое объявление на первой странице и записать в мой счет. Журнал будет хороший, и сие объявление не может принести ничего, кроме осязательной существенной пользы. – И, как нередко, заканчивает шуткой: – Ведь большая польза, если людям режут ноги…»

Когда вышло в свет девять превосходных в научном отношении номеров, когда сформировался круг сотрудников, когда в редакционном портфеле образовался запас интересных статей и неуклонно увеличивалось число подписчиков, Сытин вновь заупрямился и предупредил, что с нового (1898) года прекращает финансировать издание.

Журнал, как выразился Чехов, вновь дышал на ладан, и Антон Павлович, сам едва оправившийся после тяжелого легочного кровотечения, снова бросился спасать «Хирургию».

Профессор Дьяконов делится с Чеховым не только горестными фактами из жизни своего детища, но и радостными событиями и постоянно встречает искреннее сочувствие и неподдельный интерес. Ему же первому Петр Иванович сообщает новость о получении на издание «Хирургии» большой суммы денег от своего богатого пациента.

Чехов ликует: «Хирургия» спасена! Деньги найдены!» – пишет он А. С. Суворину.

31 декабря, в канун нового, 1898 года, П. И. Дьяконов пишет А. П. Чехову: «…Вы поддерживаете во мне веру в мои силы и в успех того дела, которое я считаю насущно необходимым для движения нашей научной мысли, и для развития у нас научной, а не ремесленнической хирургии. Должен сказать, что поддержка мне нужна тем более, что здесь я встречаю везде одну только апатию, способную сокрушить самые благие стремления и самые радужные мечты…»

А. П. Чехов и М. Горький

А. П. Чехов и Л. Н. Толстой

В знак благодарности профессор П. И. Дьяконов регулярно «преследует» Антона Павловича свежими номерами журнала и просит писателя сообщать свой заграничный адрес, когда он уезжает туда на лечение: «…Мне изо всех сил не хочется терять Вас из виду…»

Журнал «Хирургия» пережил Антона Павловича и своего редактора, скончавшегося в 1908 г. После смерти П. И. Дьяконова

редакцию возглавили известные русские хирурги Н. И. Напалков и Н. Н. Теребинский.

Более 1,5 тысячи оригинальных статей, опубликованных на страницах «Хирургии», насчитали доктора Л. А. Каплан и А. С. Кузьмина, составившие библиографический указатель дьяконовского журнала через 25 лет после его закрытия.

В списках авторов журнала значатся корифеи отечественной хирургии: А. А. Бобров, Н. Н. Бурденко, А. В. Вишневский, П. А. Герцен, А. В. Мартынов, С. И. Спасокукоцкий, С. П. Федоров и многие другие.

Конец XIX – начало XX века были периодом, когда хирургия одну за другой завоевывала себе области, считавшиеся ранее недоступными для оперативного лечения. Выдающуюся роль в стремительном наступлении хирургического метода на болезни сыграл печатный орган московских хирургов – журнал «Хирургия». И поэтому можно смело утверждать, что спасенный Чеховым журнал стоит не 20 000 удачных операций, как полагал Антон Павлович, а многих сотен тысяч.

Однако статьи семидесятилетней давности не потеряли своего значения и в наше время, и мне хочется посоветовать молодым врачам изредка обращаться к подшивкам старых журналов. Выдающиеся хирурги прошлого прекрасно владели не только скальпелем, но и пером и, рассказывая о диагностике и лечении различных болезней, умели ненавязчиво передать читателю свой врачебный и жизненный опыт. Сегодня в связи с резким увеличением потока информации журнальные статьи превратились в сгустки фактических данных и, естественно, утратили индивидуальный почерк. Медицинская наука от этого, возможно, выиграла, но медицина как человековедение кое-что и потеряла.

В дореволюционной России «Хирургия» была одним из самых популярных медицинских журналов – неофициальным рупором городских и земских хирургов.

По мнению профессора А. М. Заблудовского, популярность журнала была в значительной мере обусловлена теми симпатиями, которыми пользовался у земских врачей первый редактор журнала Петр Иванович Дьяконов. Думается, немалое значение имело и то, что у колыбели «Хирургии» стоял земский врач и великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

Как слаба была старая медицина!

«…Кто слышал от него жалобы, кто знает, как страдал он?» – вопрошает И. А. Бунин в статье, посвященной памяти А. П. Чехова.

Это молчаливое превозмогание смертельного недуга длилось не месяц и не год. Бунин определил возраст болезни Чехова в 15 лет. Если же вести отсчет с момента первого кровохарканья, о котором Чехов сообщает Н. А. Лейкину в декабре 1884 г. («…три дня не видел белого плевка»), то надо прибавить еще пять лет.

В письме к А. С. Суворину от 14 октября 1888 г. Антон Павлович отнес начало своей болезни к 1885 г. В этой ошибке нет ничего удивительного так как болезнь к этому времени приняла хроническое течение, стала повседневностью: «…Я два раза в год замечал у себя кровь… Третьего дня или днем раньше – не помню, я заметил у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет.

До сих пор дебатируется вопрос: был ли А. П. Чехову вполне ясен диагноз его болезни?

Дело в том, что долгие годы (пока эскулапы, по выражению Антона Павловича, не вывели его из блаженного неведения) он ни разу не называет свою болезнь страшным словом – чахотка.

Трудно даже представить, чтобы такой грамотный врач, как А. П. Чехов, не знал столь выраженных симптомов кавернозного туберкулеза легких, которые сам же у себя находил: «…Каждую зиму, осень и весну и каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве…»

«Зловещее зарево» – этот символ смертельного ужаса повторно зазвучит на страницах «Скучной истории»:

«…В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево», – скажет в своих записках обреченный на смерть Николай Степанович.

Да было ли «блаженное неведение»?

Вопрос этот не праздный: отношение А. П. Чехова к своей смертельной болезни характеризует его как человека мужественного, с поразительным самообладанием.

«Я болен. Кровохарканье и слаб… Надо бы на юг ехать, да денег нет».

Не потому ли на юг, что там лечат чахотку?

Когда у него на руках умирал от туберкулеза брат Николай, из уст Антона Павловича вырвалось сожаление: «…Бывают

минуты, когда я искренне горюю, что я медик, а не невежда» – и это не только о ясной даже для непосвященного судьбе любимого брата, но и о своей собственной.

Поразительное по откровенности признание он сделал в одном из летних писем 1888 г., когда наблюдал постепенное угасание ослепшей и обездвиженной З. М. Линтваревой.

«…Мне уже начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем „Сумерки“, точно никогда не умрем…»

Стоит в этой фразе заменить «мы» на «я» (ведь «Сумерки» написал А. П. Чехов, а не кто иной), и сразу станет явным намек на тот разрушительный процесс, который денно и нощно происходит в его организме, и прогноз болезни, и не очень высокая оценка собственного сборника, и понимание того, что времени для творчества отпущено немного и надо спешить делать настоящие книги.

«Он был врач, – писал А. М. Горький, – а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач и знает кое-что о том, как разрушается организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть…»

Доктор Чехов безусловно понимал, что длительное лечение потребует коренной перемены образа жизни. Это же обстоятельство гнало его из Москвы в деревню. Была мечта поселиться на хуторе в гоголевских местах. «Если я в этом году не переберусь в провинцию… то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея, – пишет он на Украину А. И. Смагину. – Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи, больше ничего. Уехать из Москвы мне необходимо».

Покупка хутора не состоялась, а вскоре было приобретено Мелихово.

Осознавая необходимость срочного принятия решительных мер, Чехов в то же время скептически относился к возможности полного выздоровления.

«…Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду», – категорически заявлял он. А поэтому весьма логично: «Выслушивать себя не позволю».

Он решил играть с болезнью «в темную» и почти 13 лет избегал врачебного осмотра, чтобы не услышать подтверждение

диагноза, выставленного им самим («…вдруг откроют что-нибудь вроде удлиненного выдыхания или притупления…»). Подобно тому, как профессор Николай Степанович из «Скучной истории» не рискует подвергать себя осмотру врача, чтобы по выражению лица своего коллеги, даже если ему не скажут правду, не прочитать приговор и не лишиться последней надежды.

«…У кого нет надежд? – рассуждает профессор. – Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь…»

Чехов не любил говорить о своей болезни, а от некоторых из близких родственников ее просто скрывал.

«…С 1884 года начиная, у меня почти каждую весну бывали кровохарканья, – пишет он старшему брату в 1897 г. и предупреждает: – Дома о моей болезни ничего не знают, а потому не проговорись…»

Однажды, обсуждая вопрос о том, что врачам следует говорить больному о диагнозе, Антон Павлович в несколько утрированной форме преподал урок деонтологии – науки о поведении врача: «Каждый случай приходится индивидуализировать. Но во всех случаях не бывает надобности лгать больному, как это случается, когда лечишь рак или чахотку».

Здесь же был совсем особенный случай. Я бы характеризовал его как «деонтология наизнанку», когда больной, чтобы не огорчать родственников и друзей, скрывает от них правду о своей болезни и остается с ней один на один на протяжении долгих лет.

Только из воспоминаний современников А. П. Чехова и частично из его переписки нам стало известно, какие жестокие физические страдания выпали на его долю.

«…Антон Павлович даже и вида не подавал, что ему плохо, – вспоминает Михаил Павлович. – Он боялся нас смутить… Я сам однажды видел мокроту писателя, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал:

– Это так, пустяки. Не надо говорить Маше и матери».

Весьма странно и наивно после этого выглядит удивление Михаила Павловича по поводу того, что брат Антон, «будучи сам врачом, даже и не подозревал в себе (или не хотел подозревать) бугорчатого процесса…»

Юрист и писатель А. Ф. Кони, автор прекрасного очерка о тюремном враче Федоре Петровиче Гаазе, вспоминает, что когда Чехова спрашивали о его здоровье, он уходил от ответа, задавая контрвопрос из другой области.

Антон Павлович однажды сделал такую заметку в «Записной

книжке»: «Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни».

И когда скрывать уже стало невозможно, за несколько месяцев до неудержимого легочного кровотечения, уложившего его в клинику профессора А. А. Остроумова, он пишет своему приятелю архитектору Ф. О. Шехтелю:[45] «…Жениться в настоящее время я не могу, потому что, во-первых, во мне сидят бациллы, жильцы весьма сумнительные, во-вторых, у меня ни гроша, и, в-третьих, мне все еще кажется, что я очень молод…»

Спокойно-шутливый тон этого письма свидетельствует о том, что он давно знает своих «жильцов» в лицо, хотя и не смотрел на них под микроскопом.

Писательница Лидия Алексеевна Авилова, в которую в это время был влюблен Чехов, о чем очень убедительно рассказала в своем исследовании-эссе «Переполненная чаша» Инна Гофф, приводит выдержку из письма Антона Павловича, объясняющую, почему не сложились их отношения: «…Нельзя забыть, что я больной. Не могу забыть, не должен забыть. Связать с собой женщину молодую, здоровую… Отнять у нее то, что у нее есть, а что дать взамен? Я врач, но я не уверен, что я вполне выздоровею». (Здесь, кажется, Антон Павлович описался: именно потому, что он врач, он прекрасно прогнозировал течение своей болезни.)

Болезнь развивалась, как принято тогда было выражаться, crescendo. 22 марта 1897 г. у Чехова началось обильное кровотечение. А. С. Суворин, присутствовавший при этой катастрофе, случившейся за обедом в «Эрмитаже», вспоминает слова Антона Павловича: «…У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки». Кстати, к этому времени, как записано в истории болезни А. П. Чехова, четверо его близких родственников умерли от туберкулеза легких.

Тогда же он впервые был осмотрен врачами и вскоре госпитализирован в клинику.

А. С. Суворин, навестивший Антона Павловича, записал в своем дневнике: «…Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: „Разве река тронулась?“. Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье? Несколько дней тому назад он говорил мне: „Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду“.

По указанию врачей, все это время он должен был лежать

молча. Был назначен строгий постельный режим. Навещать его разрешили только Марии Павловне. Но двери чеховской палаты не закрывались от потока посетителей, и в одной из записок он с радостью отмечает: «Ко мне то и дело ходят, приносят цветы, конфеты, съестное. Одним словом, блаженство…»

Ялта. Дом А. П. Чехова

А. П. Чехов в кабинете в Ялте

Особую радость доставил визит Л. Н. Толстого.

История их личного знакомства относится к августу 1895 года, когда Антон Павлович гостил в Яснополянской усадьбе.

«Впечатление чудесное, – вспоминал он об этой поездке. – Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши были легки».

Толстой любил Чехова и чрезвычайно высоко ценил его как рассказчика. Это ему принадлежит сравнение чеховской прозы с поэзией Пушкина.

Отношение Антона Павловича к Льву Николаевичу было двойственным. С одной стороны, Толстой-художник для него был бог, Юпитер, который выше всякой критики.

«Когда в литературе есть Толстой, – писал он в 1900 году, – то легко и приятно быть литератором: даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются…»

И в то же время Чехов-материалист не мог признать и принять философские взгляды своего кумира. Мягкий и деликатный Чехов постоянно оказывал ему сопротивление.

Так было и в этот раз, когда жизнь Чехова держалась почти что на волоске. Говорили о бессмертии. Позже Антон Павлович так рассказывал об этом посещении: «Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю».

Кровохарканье было особенно продолжительным и прекратилось только через десять дней.

Сегодня мы можем сказать, что методы борьбы с легочным кровотечением, которые применялись А. П. Чехову, были абсолютно неэффективны. Нельзя же всерьез думать, что кусочки льда, которые он периодически глотал, или пузырь со льдом, уложенный на грудь, способны вызвать охлаждение легких, спазм легочных сосудов и тем самым остановку кровотечения. Основную роль в благоприятном исходе осложнения сыграли постельный режим, покой, резервные силы организма и еще оптимизм больного.

В начале апреля Чехову разрешили подниматься с постели. В демисезонном пальто и шляпе с широкими полями он выходил подышать весенним воздухом. Сил хватало только добраться до скамейки около подъезда клиники, откуда хорошо видны блестящие в поднебесье купола Новодевичьего монастыря. Другой достопримечательности – известного сегодня многим москвичам памятника Н. И. Пирогову в то время здесь еще не

было: его поставили через несколько месяцев после выписки Антона Павловича.

По господствовавшим в дорентгенологическую эру представлениям, развитие туберкулеза в легких начиналось с верхушки и затем распространялось на нижние отделы органа. Ограниченное поражение верхушки считалось начальной стадией процесса, а наличие каверны относилось к третьей (запущенной) стадии.

Чехов пленял докторов клиники своим умением не терять присутствия духа и чувства юмора. Особенно он сблизился с врачами, принимавшими непосредственное участие в его лечении: с ассистентом А. А. Ансеровым и ординатором М. Н. Масловым, которым он подарил несколько своих книжек, а последнему – еще и фотографию, где русскими буквами написал латинское название своей болезни.

По-видимому, чтобы Антон Павлович не думал, что болезнь зашла слишком далеко, врачи выдвинули версию «верхушечного процесса», о чем А. П. Чехов и сообщает А. С. Суворину: «Доктора определили верхушечный процесс в легких и предписали мне изменить образ жизни, – и далее рисует идиллическую картину: – …Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть…»

Покой, тепло и полноценное питание, действительно, были необходимы для его здоровья (по данным медицинских документов, он был настолько истощен, что дефицит веса составлял почти 25 килограммов). Но в устах А. П. Чехова, постоянно пренебрегавшего своим здоровьем, подобное обещание звучало иронически. Жить только для себя и думать только о себе Чехов не умел. Даже здесь в больнице, истекая кровью, он не переставал заботиться о постройке школы и обстановке квартиры учителя Н. И. Забавина.

«Многоуважаемый Николай Иванович, – извещал он учителя, – на днях (до пасхи) пришлют для вашей квартиры камин…»

Через 8 месяцев Антон Павлович решил проверить свой вес. Весил он 72 килограмма – ровно на 10 килограммов больше, чем в марте. Но эти килограммы, надо полагать, он «набрал» за счет того, что «вешался в осеннем пальто, в шляпе, с палкой…» – как помечено в записной книжке писателя.

Здоровье ушло, и его уже не вернешь, понимал доктор Чехов и с грустью писал своему давнему другу Л. Мизиновой: «…Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье прозевал, так же, как Вас…» Талант писателя и клятва Гиппократа требовали от него всей жизни и отнимали все силы.

За все двадцать лет болезни он ни разу не воспользовался правом на «больничный лист», хотя почти постоянно мечтал об отдыхе.

«– Знаете, Жан, что мне сейчас надо?… – вспоминает Ив. Щеглов[46] слова Антона Павловича вскоре после выписки из остроумовской клиники. – Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле… понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!»

Как врач он знал, что жизнь его будет коротка, и поэтому не мог позволить себе такой «роскоши», как годичный отдых. И делал все возможное, чтобы сократить ее еще больше.

Он отправлялся на Сахалин, отчетливо представляя, что поездка эта угрожает не только его здоровью, но и самой жизни. В подтверждение можно привести ответ А. П. Чехова клеветникам из «Русской мысли» накануне отъезда: «Я, пожалуй, не ответил бы на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уже не вернусь…». Можно не сомневаться, что любому другому легочному больному доктор Чехов наверняка отсоветовал бы необычайную по трудности и лишениям поездку.

И так было во все времена его болезни. Он начисто был лишен инстинкта самосохранения и совершенно не считался с собой, со своим состоянием.

«…Болен и сижу дома… не могу мечтать о скорейшем выздоровлении…»

Строки эти написаны 26 января 1892 г. – через две недели после поездки в Нижегородскую губернию по делам помощи голодающим. А 2 февраля, то есть еще через неделю, он вновь по тем же неотложным делам забирается в глубинку Воронежской губернии.

А сколько здоровья отнимала работа на врачебном участке!

«В разъездах я от утра до вечера и уже утомился, хотя холеры еще не было. Вчера вечером мок на проливном дожде, не ночевал дома и утром шел домой пешком по грязи…»

Даже в последний – ялтинский, наиболее тяжелый для него период жизни Антон Павлович не переставал заботиться о больных.

Словно про себя он написал в «Рассказе старшего садовника»: «…У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как высоки они ни были…»

Нет, в это время Антон Павлович уже почти не занимался медицинской практикой, и этими «высокими горами» для него была ежедневная забота о приезжающих в Ялту чахоточных бедняках, которые стекались туда со всех концов России «без

гроша в кармане, – как писал К. И. Чуковский, – лишь потому, что им было известно, что в Ялте живет Антон Павлович Чехов: „Чехов устроит. Чехов обеспечит и койкой, и столовой, и лечением!“

С акварели П. Ф. Соколова

Постоянная забота о больных напоминала Чехову о его собственной смертельной болезни.

Сегодня мы знаем, каким образом Антон Павлович помогал беднякам дешево устроиться на лечение: через подставных лиц он оплачивал их квартиру или делал взносы в благотворительное общество. Случалось, если некуда было пристроить тяжело больного человека, он оставлял его у себя.

В подтверждение хочется привести слова писателя Б. А. Лазаревского, встречавшегося с Антоном Павловичем в последние годы его жизни: «Я неоднократно слыхал вот о каких случаях: в Ялту приезжает лечиться от чахотки какой-нибудь совсем неизвестный и, главное, совсем незнакомый Чехову журналист. Через несколько дней этот журналист вдруг получает обыкновенное письмо, с обыкновенной семикопеечной маркой,

вскрывает, его и видит сторублевку, неизвестно кем присланную… Только некоторые люди знали, что автором этих „анонимов“ был Чехов». Однако финансовые возможности его были весьма ограниченными, а число нуждающихся в помощи с каждым годом возрастало.

«Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных учителей…» – вспоминает А. М. Горький слова Чехова.

И он устраивал. И писал воззвания о сборе средств в пользу неимущих больных:

«Положение легочных больных, проживающих в Ялте, бывает часто весьма тяжелым: приезжающим сюда с весьма ограниченными средствами, одиноким людям приходится жить в крайней нужде, не поддающейся описанию… В большинстве это люди, истратившие на лечение своего недуга все, что имели, люди, оторванные от семьи, от родных мест, от дела, уже изнемогшие в тяжкой борьбе за существование, но все еще полные душевных сил, жаждущие жить, работать и быть полезными своей родине.

…Конечной своей целью мы имеем устройство собственно пансионата или санатория, где бы нуждающиеся легочные больные получали квартиру, содержание и лечение; но это все в будущем, а пока все наличные поступления идут на… безотлагательную помощь нуждающимся, число которых в последнее время…особенно возросло.

Наступило холодное время, и в Ялту начали съезжаться для зимнего лечения тяжелобольные… Уже дует северный ветер, в дешевых нетопленных квартирах сыро, мрачно, согреться нечем, обеда нет, – и это когда больного лихорадит, мучает кашель и когда медицина прописывает чистый воздух, покой, тепло, хорошее питание!..»

Антон Павлович лично рассылает воззвание в редакции различных газет, видным деятелям русской культуры, своим друзьям и знакомым. Призыв «О помощи нуждающимся туберкулезным больным» облетел Россию. Имя Чехова привлекло большое число пожертвователей. Было собрано около 40 тысяч рублей. Антон Павлович добавил еще свои 5 тысяч и купил дом, который вскорости начали перестраивать под санаторий.

Когда в Гаспре в 1901 г. в крайне тяжелом состоянии с воспалением легких лежал Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, по свидетельству сына Толстого, сокрушался, что из-за своей болезни не может по очереди с другими врачами дежурить у постели Льва Николаевича, и постоянно справлялся о его здоровье.

Визиты А. П. Чехова были приятны Толстому и его окружению. Софья Андреевна Толстая записала в своем дневнике 12 октября 1901 года: «Был А. П. Чехов и своей простотой и признанной всеми талантливостью всем нам очень понравился и показался близким по духу человеком». В этой же записи она отметила, что на Чехове отразилась печать страшной болезни.

А. М. Горький в воспоминаниях писал: «…Чехова Лев Николаевич любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды Антон Павлович шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

– Ах, какой милый, прекрасный человек, скромный, тихий, точно барышня. И ходит, как барышня, просто чудесно…»

Из последних сил он сопротивлялся болезни, постоянно испытывая опасения, что может быть упущено что-то важное в жизни. Величайший мастер короткого рассказа, он и свою непродолжительную жизнь сумел построить без пустот и провалов. В его биографии легко разглядеть несколько «планов», каждый из которых мог составить целую жизнь – писателя, врача, ученого, просветителя, общественного деятеля.

В дневнике Антона Павловича есть такая запись: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно».

Однако болезнь делала свое дело, и он с грустью писал: «Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь…»

В сорок с небольшим Антон Павлович чувствовал себя на склоне лет, на самом краю быстротечно пронесшейся жизни. Болезнь с ее теперь уже близким печальным финалом не вызывала у него панического страха. Свои мысли по этому поводу он изложил в одном из писем к сестре: «…человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя был бы Александром Македонским – и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно».

Наблюдательный Антон Павлович смотрит на себя со стороны, чужими глазами, и замечает:

«…Вероятно, я очень изменился за зиму, потому что все встречные поглядывают сочувственно и говорят разные слова…»

Ивана Щеглова ужаснула перемена, которая произошла во внешности Чехова уже к весне 1897 года: лицо его стало желтым,

изможденным, он часто кашлял и зябко кутался в плед.

Перемену в облике Антона Павловича отмечали и А. И. Куприн и И. А. Бунин. Последний писал:

«…В Москве в девяносто пятом году я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях…

В Ялте я нашел его уже сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике по-прежнему сквозило присущее ему изящество, однако это было изящество уже не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного пережитым человека…»

Мы тоже можем выявить эти изменения, если будем разглядывать фотографии Антона Павловича в хронологической последовательности. За какие-нибудь 5–7 лет он резко состарился и превратился из молодого жизнерадостного человека в утомленного, доброго и мудрого доктора А. П. Чехова, портрет которого (проницательный и грустный взгляд сквозь стекла пенсне, тронутая сединой остроконечная бородка, галстук-бабочка) так врезался в нашу память со школьной скамьи.

Портрет этот созвучен крылатой фразе писателя: «В человеке все должно быть прекрасно…»

Никак не могу согласиться с А. Моруа, который в принципе самым высоким образом оценивает Чехова, но в то же время говорит о его лице, что оно «почти банально». Правда, Моруа видит в этом определенный смысл: скромный и добропорядочный человек, каким был Антон Павлович, и не должен был поражать окружающих своей внешностью.

А вот выдающийся советский скульптор С. Т. Коненков находит облик Чехова в период его творческой зрелости «возвышенно-прекрасным» и считает, что «любой взыскательный художник долго будет раздумывать, прежде чем решится в живописном или скульптурном портрете поведать людям об этом умнейшем и добрейшем человеке». Так писал человек, лучше многих умевший вглядываться в лица.

Трезво оценивая состояние своего здоровья, А. П. Чехов 3 августа 1901 года отдает распоряжение сестре: «Милая Маша, завещаю тебе в свое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне – дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи рублей, Ивану – пять тысяч и Михаилу – три тысячи…»

В этом завещательном письме не забыты и крестьяне: «Я обещал крестьянам села Мелихово сто рублей – на уплату за

шоссе…»

Но вот – главный его завет, которым заканчивается письмо: «Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».

«Разве здоровье не чудо? А сама жизнь?…» – подобные слова, прозвучавшие в рассказе «Дом с мезонином», вполне естественны в устах смертельно больного писателя.

Чехов неоднократно возвращался к определению понятия «здоровье»:

«Здоровье есть свобода», – пишет он в рассказе «Цветы запоздалые». Обратим внимание – это определение оказывается созвучным Марксовой формулировке, что болезнь есть стесненная в своей свободе жизнь.

Болезнь резко ограничила свободу писателя.

По требованию врачей он оставил любимые им Москву и Подмосковье. Было продано Мелихово с незатейливым и просторным домом, в окна которого из-за сугробов заглядывали зайцы, с маленьким флигельком, в котором он с упоением работал над «Чайкой».

Сознание, что он должен жить здесь, только здесь, угнетало его. В память о мелиховской природе он посадил у себя в Ялте березку, за которой любовно ухаживал, и был глубоко опечален, когда ветром сломало молодое деревцо.

В Ялте писатель остро чувствовал свое одиночество. В одном из писем сестре можно прочитать такое грустное признание Антона Павловича: «Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающе, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».

Из шести последних лет своей жизни А. П. Чехов провел в Крыму в общей сложности 48 месяцев! «Я оторван от почвы…» – жаловался он Ольге Леонардовне из Ялты. Говоря словами одного из его первых биографов А. Измайлова, Москва стала для него символом «потерянного рая». Тоска по Москве Ольги, Маши и Ирины из «Трех сестер» – пьесы, задуманной и написанной как раз в эти годы, – отражает сокровенные чувства автора. И даже умереть он вынужден был на чужбине – в Баденвейлере.

Антон Павлович мучительно переживал разлуку с женой.

«Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству», – писал он Ольге Леонардовне из своей «теплой Сибири».

Жена писателя ради его душевного спокойствия готова была поступиться артистической карьерой, но, как она сама же и замечает, Антон Павлович никогда не принял бы такой жертвы.

Многие биографы Антона Павловича связывают его преждевременную смерть с преувеличением роли климатического

фактора в лечении туберкулеза легких.

При рекомендации того или иного курорта, как правило, не учитывались трудности дальней дороги (поездку на кумыс в Уфимскую губернию больной писатель сравнивает с путешествием на Сахалин), неустроенность быта, отрыв от привычной обстановки, близких ему людей. Поэтому в высказывании Антона Павловича, что «вынужденная праздность и шатание по курортам хуже всяких бацилл», есть немалая доля истины.

Противоречия во врачебных назначениях подрывали веру в целесообразность такого лечения.

Когда после четырех зим, проведенных в Ялте, из которой Антон Павлович с горечью писал: «…Я точно в ссылке в городе Березове…» – он вдруг услышал от профессора А. А. Остроумова – своего университетского учителя, авторитетнейшего терапевта, что «ялтинская зима вообще скверна», и профессор вопреки другим рекомендациям приказал проводить зиму на даче под Москвой, Чехову оставалось только воскликнуть: «Вот тут и разберись!»

Характеризуя А. А. Остроумова, его ближайший ученик профессор В. А. Воробьев вспоминал: «Остроумов был человек с очень твердым, независимым характером, правдивый и прямой. Он был очень замкнутый человек, но он не мог скрыть того, что с неудержимой силой прорывалось и поражало всех с первого знакомства – это громадный прирожденный ум, широта умственного кругозора, непринужденность и удивительная свобода полета его мыслей, наблюдательность, объективность и проницательность взглядов, позволявшие ему легко анализировать вещи, почти скрытые от умственного взора большинства людей… Его критика была беспощадной, не останавливалась ни перед кем, даже если бы она была направлена против себя самого или близких ему людей… Эти черты ума создали независимый образ мыслей, не преклонявшийся ни перед какими авторитетами, не признававший никаких искусственных, хотя бы и общепризнанных, рамок…»

В письме о визите к А. А. Остроумову Антон Павлович рассказывает: «…Осмотрел меня как следует, обругал меня, сказал, что здоровье мое прескверное…» И далее: «…Ты, говорит, калека…»

К сожалению, это был первый и запоздалый осмотр А. П. Чехова знаменитым терапевтом. Во время пребывания Антона Павловича в его клинике профессор сам был болен, а потом уехал из Москвы.

Однако Чехов был вхож к А. А. Остроумову. Известно, что он советовался с профессором по поводу лечения своего друга художника И. И. Левитана, страдавшего серьезной болезнью сердца.

Думаю, что в высшей степени деликатный Антон Павлович не обращался за личной консультацией к Остроумову только потому, что боялся обидеть недоверием своих лечащих врачей.

А в диетотерапии («…то же глупое какао, та же овсянка…»), проводившейся под наблюдением немецких врачей в чужой и далекой ему Германии, Антон Павлович видел явное шарлатанство, против которого выступал всю свою жизнь.

От чеховских времен до эры стрептомицина и других антибактериальных препаратов, совершивших коренной перелом в судьбе туберкулезных больных, должно было пройти долгих полвека.

Однако уже в девяностые годы по предложению итальянского врача Форланини стали применять для лечения туберкулеза легких искусственный пневмоторакс – вдувание через иглу воздуха в полость плевры.

«…У больных, считавшихся обреченными, быстро снижалась температура, прекращались ознобы и изнурительные поты, прекращался кашель, восстанавливался аппетит, и в течение 10–15 дней тяжелый больной приобретал облик выздоравливающего», – писал в наши дни член-корреспондент АМН СССР профессор В. А. Равич-Щербо, которому в своей практике неоднократно пришлось использовать этот старый и проверенный метод. Эффективность метода была настолько очевидной, что в начале настоящего столетия он получил мировое признание. Возникает недоуменный вопрос: почему же для лечения А. П. Чехова не был применен пневмоторакс? Врачами, судя по всему, даже не ставился на обсуждение вопрос о наложении ему искусственного пневмоторакса.

О природной деликатности Антона Павловича писали многие. Это свойство его характера проявлялось не только в отношениях с людьми. Он и болел и даже умер, если можно так выразиться, чрезвычайно деликатно.

«– Я мешаю… вам спать… простите… голубчик…» – едва выговаривая слова, извинялся он перед А. Серебровым, которого разбудил приступом судорожного кашля.

В одном из писем А. С. Суворину Антон Павлович рассказывает: «…Я на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю. Быстро иду к террасе, на которой сидят гости…» И в этот критический момент, – одна, очень характерная для Чехова мысль: «…Как-то неловко падать и умирать при чужих…».

Отчетливо сознавая, что умирает, он писал из Германии бодрические письма и категорически запрещал Ольге Леонардовне сообщать на родину правду («…он все твердит, чтобы я писала, что ему лучше»).

Вслед за Буниным хочется повторить: «Было поистине изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов!»

У того же самого Бунина в мрачном рассказе «Копье господне» есть такие слова: «Этот желтый флаг смерти, под которым мы теперь плывем, – желтый санитарный флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, – твердо напоминает: будь всегда готов к ней, – она и над тобой, и впереди, и вокруг…»

Антон Павлович, почти всю свою сознательную жизнь проживший под желтым флагом смертельной болезни, не ожесточился, не замкнулся в себе и меньше всего старался думать о смерти. Он не хотел до времени – при жизни – хоронить себя и создавать похоронное настроение у близких.

Он даже находил в себе силы шутить над своим здоровьем, подписываясь под некоторыми письмами «Ваш калека» вместо «Ваш коллега». А за несколько лет до смерти он – уже давно обреченный – послал издателю А. Ф. Марксу телеграмму, что вряд ли проживет более 80 лет, чем серьезно напугал издателя, так как по контракту каждые пять лет автор должен получать солидную надбавку гонорара. И даже за несколько часов до смерти смешил Ольгу Леонардовну анекдотическим сюжетом из курортной жизни.

Возможно, что в наиболее тяжкие моменты своей жизни он вспоминал, как стоически выносила страдания его близкая знакомая замечательная женщина-врач Линтварева, погибшая в 1891 г. от опухоли.

«…В то самое время, когда вокруг нее зрячие и здоровые жаловались порой на свою судьбу, она, слепая, лишенная свободы движения и обреченная на смерть, не роптала, утешала и ободряла жаловавшихся», – писал он в некрологе.

Отправляясь по настоянию приглашенного Ольгой Леонардовной нового врача Таубе на немецкий курорт Баденвейлер, Антон Павлович уговаривал доктора И. Н. Альтшуллера каким-либо образом помешать этой поездке и «спасти его от немцев».

Могила А. П. Чехова

О том, что накануне отъезда у А. П. Чехова были дурные предчувствия, свидетельствует писатель Н. Д. Телешов, навестивший его. Антон Павлович попрощался и попросил передать поклон товарищам и знакомым. «…Пожелайте им от меня счастья и успехов… Больше уж мы не встретимся…»

Предчувствия его не обманули. Поездка в Баденвейлер была не только ненужной, но и вредной для здоровья, так как подорвала последние силы. Позже Ольга Леонардовна писала: «Если бы я могла предвидеть или если бы Таубе намекнул, что может с сердцем сделаться или что процесс не останавливается, я бы ни за что не решилась ехать за границу».

К дыхательной недостаточности присоединилась декомпенсация деятельности сердца. Он задыхался, сидя в постели. Особенно мучительной одышка была по ночам.

Антон Павлович умер в ночь на 15 июля 1904 г.

Через 4 года в Баденвейлере на средства, собранные артистами Московского Художественного театра, торжественно был открыт памятник А. П. Чехову – бронзовый бюст на гранитном постаменте. Но он простоял недолго. Когда кайзеровская Германия переключилась на пушки вместо масла, памятники тоже бросили в переплавку. Лишь в 1963 г. в Баденвейлере была установлена мемориальная плита: «Доброму человеку и врачу, великому писателю Антону П. Чехову. Родился 29.1.1860 г. в Таганроге. Умер 15. 7. 1904 г. в Баденвейлере».

О последних его минутах мы знаем со слов Ольги

Леонардовны.

А. П. Чехов проснулся и впервые за все годы болезни попросил ночью вызвать врача. Когда пришел его лечащий врач Швёрер, Чехов сказал, что посылать за кислородом бессмысленно, так как пока его принесут, он уже будет мертв.

Доктору А. П. Чехову был совершенно чужд мистицизм. Он во всем любил ясность и определенность, и даже в последний миг жизни не изменил своим убеждениям.

– Я умираю, – тихо сказал он, взглянув на жену. И повторил по-немецки для врача, стоявшего рядом: – Ich sterbe.

Швёрер велел дать умирающему бокал шампанского. Чехов взял бокал и, как пишет Ольга Леонардовна, повернулся к ней, «улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал:

– Давно я не пил шампанского… – покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда…».

В одном из писем конца 1891 г. Антон Павлович утверждал: «…Если бы я был около князя Андрея, то я бы его вылечил, – естественно, имея в виду не свои личные способности, а общий прогресс медицинской науки. – Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина!..»

Перефразируя слова любимого писателя и коллеги, хочется воскликнуть: «Как слаба была старая медицина! Если бы я был рядом с Чеховым, я бы не дал ему умереть!».

Некоторые даты жизни, творчества и медицинской деятельности А. П. Чехова

1860 – 17(29) января – рождение А. П. Чехова.

1869–1879 – Учеба в Таганрогской классической гимназии.

1879 – Переезд Антона Павловича в Москву и поступление на медицинский факультет Московского университета.

1880 – В журнале «Стрекоза» опубликовано первое произведение А. П. Чехова – «Письмо к ученому соседу».

1883 – Мысли о научной работе «История полового авторитета». Летняя студенческая практика в Чикинской земской больнице. Знакомство с доктором П. А. Архангельским.

1884 – Окончание медицинского факультета университета. Выход первого сборника рассказов «Сказки Мельпомены». Собирает материалы для диссертационной работы «Врачебное дело в России». Временная работа врачом в Чикинской земской больнице и в Звенигородской больнице. Там же периодически работает летом 1885–1887 гг. В зимние месяцы частнопрактикующий врач. Декабрь 1884 г. – первое кровохарканье.

1886 – 25 марта – Письмо Д. В. Григоровича А. П. Чехову, в котором известный писатель призывает Чехова уважать свой талант, бросить срочную работу и т. д. После этого письма Антон Павлович сворачивает медицинскую практику и больше времени уделяет литературному творчеству.

1888 – Присуждение Пушкинской премии за сборник «В сумерках».

Летом отдыхает в Сумах в имении Линтваревых, где ведет прием больных на фельдшерском пункте.

1889 – Летом вновь в имении Линтваревых. 17 июня – смерть брата Николая от туберкулеза легких. В сборнике «Памяти Гаршина» рассказ «Припадок». Опубликована «Скучная история». Начало подготовки к путешествию на Сахалин.

1890 – Поездка на Сахалин. Проведение серьезных медико-социологических исследований на острове. Рассказ «Гусев».

1891 – Работа над книгой «Остров Сахалин». Написаны «Дуэль», «Дом с мезонином» и др.

1892 – Поездка в Нижегородскую и Воронежскую губернии по делам помощи голодающим. Приобретение Мелихова. Эпидемия холеры. Организует врачебный участок по борьбе с холерой. Ведет амбулаторный прием больных в усадьбе и выезжает по вызовам. Публикация «Палаты № 6».

1893 – март – XII экстренный губернский съезд врачей Московского Земства, на котором отмечена большая работа доктора Чехова во время эпидемии холеры. Создание в Мелихове контрольно-наблюдательного врачебного пункта в связи с новой вспышкой холерной эпидемии. Работа на участке. Печатается «Остров Сахалин».

1894 – Поездка в Крым в связи с ухудшением здоровья. Несет общественные обязанности: гласный Серпуховского земского собрания; присяжный заседатель Московского окружного суда; попечитель Талежского сельского училища. Опубликованы «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Рассказ старшего садовника» и др.

1895 – Принимает активное участие в спасении хирургического журнала. В последующие годы (1896 и 1897) помогает профессору П. И. Дьяконову найти издателя, публикует за свой счет объявления о подписке на журнал и т. д. Отдельное издание книги «Остров Сахалин».

1896 – Строит школу в Талеже. Опубликованы «Чайка» и «Моя жизнь».

1897 – Работа по переписи населения. Постройка школы в Новоселках. 22 марта – обильное легочное кровотечение. Первый врачебный осмотр за 13 лет болезни. Госпитализация в клинику профессора А. А. Остроумова. Публикация повести «Мужики». Награждение медалью за работу по переписи населения. Вновь избран гласным Серпуховского земского собрания. В сентябре уехал за границу. Следит за ходом «дела Дрейфуса».

1897 – Разрыв с А. С. Сувориным и «Новым временем». Строительство школы в Мелихове. 12 октября – смерть отца. Строительство флигеля в Аутке, близ Ялты. Опубликованы «Ионыч», «Случай из практики», «Крыжовник» и др. Первый спектакль «Чайка» в Художественном театре.

1899 – Продано Мелихово. Переезд в Ялту матери и сестры Воззвание о помощи туберкулезным беднякам. Премьера «Дяди Вани» в Художественном театре.

1900 – Избрание почетным академиком. Опубликована повесть «В овраге».

1901 – Венчание с О. Л. Книппер. Поездка в санаторий «Аксеново» фимской губернии на кумыс. Премьера «Трех сестер» в Художественном театре. «Завещательное письмо», адресованное сестре.

1902 – январь – VIII Пироговский съезд русских врачей. Телеграмма участников съезда в адрес А. П. Чехова. Заявление об отказе от звания почетного академика в связи с аннулированием выборов М. Горького.

1903 – Ухудшение здоровья. Впервые осмотрен профессором А. А. Остроумовым.

1904 – Премьера «Вишневого сада» и чествование писателя в Художественном театре. Резкое ухудшение здоровья. Отъезд на Курорт в Германию. Скончался 2(15) июля в Баденвейлере. 9 июля – погребение на Новодевичьем кладбище в Москве.

Библиография

Авдеев Ю. В чеховском Мелихове. М., Московский рабочий.

Ашурков Е. Д. Слово о докторе Чехове. М., Медгиз, 1969.

Балухатый С. Библиотека Чехова. – В кн.: Чехов и его среда. Л., Академия, 1930, с. 197–423.

Бельчиков Н. Ф. Неизвестный опыт научной работы Чехова. – В кн.: Чехов и его среда. Л., Академия, 1930, с. 105–133.

Бердников Г. Чехов. М., Молодая гвардия, 1974, 512 с.

Бунин И. А. Памяти Чехова. – В сб.: Памяти Чехова. М., 1906.

Гейзер И. М. Чехов и медицина. М., Госмедиздат, 1954, 140 с.

Горький М. А. П. Чехов. – В сб.: Памяти Чехова. М., 1906.

Ермилов В. Антон Павлович Чехов (1860–1904). М., Молодая гвардия, 1949, 440 с.

Книппер-Чехова О. Л. Последние годы. – В кн.: Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 506–513.

Кони А. Ф. Избр. произв., в 2-х т., т. 2. Воспоминания. М., 1959.

Короленко В. Г. Отошедшие. Спб., 1908.

Куркин П. И. Антон Павлович Чехов как земский врач. Материалы для биографии (1892–1894 гг.). – Общественный врач, 1911, № 4, с. 66–69.

Мартынов Д. Д. А. П. Чехов и П. И. Дьяконов (Странички из истории русской хирургической журналистики). – Вестник хирургии, т. 61, 1941, № 6, с. 761–767.

Меве Е. Б. Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова. Киев, Медицинское издательство УССР, 1961, 286 с.

Россолимо Г. И. Воспоминания о Чехове. – В кн.: Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 496–505.

Романенко В. Т. Чехов и наука. Харьков, 1962, 208 с.

Соболев Ю. Чехов. Серия ЖЗЛ. М., 1934, 336 с.

Суворин А. С. Дневник. М., 1923, 407 с.

Федоров И. В. Кураторские карточки Чехова-студента. – Клиническая медицина, т. 38, 1960, № 1, с. 148–153.

Хижняков В. В. Антон Павлович Чехов как врач. М., Госмедиздат, 1947, с. 135.

Чехов Мих. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923.

Чуковский К. И. В кн.: Люди и книги. М., 1960, с. 415–473.

Шульцев Г. П. Чехов о грудной жабе. – Клиническая медицина, т. 38, 1960, № 1, с. 142–144.

Эренбург И. Г. Перечитывая Чехова. – Собр. соч., в 9-ти т., т. 6. М., 1965, с. 131–194.

В творческой лаборатории Чехова. Сборник статей под

редакцией Л. Д. Опульской, З. С. Паперного, С. Е. Шаталова. М., Наука, 1974.

От издательства

Борис Моисеевич Шубин был человеком разносторонне одаренным. Первоклассный практический врач, постоянно оперирующий хирург-онколог, доктор медицинских наук, ни на день не оставляющий научных исследований, деятельный организатор противораковой борьбы, талантливый литератор.

Все эти грани деятельности Б. М. Шубина требовали проявления разных свойств характера, разных качеств его богатой натуры. Но были черты, которые проявлялись во всем, за что бы он ни брался. Это неизменная доброжелательность к людям, понимание их и сострадание к ним, бесконечная требовательность к себе.

Б. М. Шубин в 1954 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова. Несколько лет работал хирургом и хирургом-онкологом в Брянске и Коломне; в 1961 году приглашен в Москву – вначале в городскую клиническую больницу № 62, а в 1969 – в Московский научно-исследовательский институт имени П. А. Герцена. В 1967 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1974 – докторскую. Обе его диссертации – результат исследования данных, накопленных в процессе собственной врачебной практики.

Литературная деятельность Б. М. Шубина началась в 1956 году, когда он, молодой врач, опубликовал в журнале «Юность» первый рассказ. Затем он печатается в газетах «Советская Россия», «Медицинский работник», «Неделя», в журналах.

С нашим издательством Б. М. Шубин сотрудничал с 1967 года. Здесь вышли его научно-художественные книги: «Доктор А. П. Чехов», выдержавшая за короткое время три издания, «История одной болезни» – о ранении и смерти А. С. Пушкина (сокращенный вариант печатался в журнале «Дружба народов» в 1983 году), а также научно-популярные: «Заразен ли рак?» (в соавторстве с А. И. Агеенко), «Легенды и правда о раке» (в соавторстве с Ю. Я. Грицманом). Последнюю из выпущенных нашим издательством книг – «История одной болезни» автор так и не увидел – он не дожил до ее выхода всего несколько дней. Как не увидел и еще одну свою книгу – «Люди против рака», которая вышла в свет в издательстве «Советская Россия» уже в 1984 году.

Борис Моисеевич Шубин умер в ноябре 1983 года на 54-м году жизни. Умер на ходу – торопясь из клиники в музей Ф. М. Достоевского на литературный вечер, где должен был делать сообщение «Ф. М. Достоевский и доктор Ф. П. Гааз».

Борис Моисеевич мечтал написать книгу (и приступил к

работе над ней) о замечательном враче прошлого века Ф. П. Гаазе. Его привлекала в этом человеке необычайная щедрость души. Девиз доктора Ф. П. Гааза «Торопитесь делать добро» не просто был воспринят Б. М. Шубиным – под этим знаком прошла вся его жизнь.

notes

Примечания

1

Лев Александрович Пушкин родился в 1723 году, умер в 1790 году.

Осип Абрамович Ганнибал родился в 1744 году, умер в 1806 году.

Ольга Васильевна Чичерина, мать отца поэта, родилась в 1737 году, умерла в 1812 году.

Надежда Осиповна Пушкина родилась 21/VI 1775 года, умерла 29/III 1836 года. О причине ее смерти судить трудно. Известно только, что она болела долго (более 10 месяцев), и уже за несколько месяцев до ее смерти, несмотря на некоторое улучшение в самочувствии, лечившие ее врачи и близкие не сомневались в печальном исходе.

2

Ложное представление о его росте, возможно, обусловлено ем, что он был ниже Натальи Николаевны, рост которой был гораздо выше среднего.

Подробнее об этом заболевании А. С. Пушкина мы говорим позднее.

4

Я ссылаюсь на авторитет Даля, поскольку он был не только ученый-лингвист, писатель, но и врач.

5

Буквально (франц.).

Неприкосновенность семьи (франц.).

7

В сущности говоря (франц.).

8

Джентльмен (англ.).

9

Вчера на балу госпожа такая-то была решительно красивее всех и была одета лучше всех (франц.).

10

А С. Пушкин перепутал фамилию доктора: В. Всеволодов – инспектор врачебной управы – действительно был выпускником ветеринарного отделения хирургической академии и автором книг по лечению лошадей.

11

В. А. Жуковский был незаконным сыном тульского помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи, привезенной из-под крепости Бендеры. Фамилию и отчество он получил от своего крестного отца, жившего в бунинском доме.

12

Последним доводом за освобождение (лат.).

13

9 сентября 1896 года немецкий хирург Рен впервые удачно наложил швы на раненое сердце, и больной выздоровел.

14

Эстли Купер (1768–1841) – выдающийся английский хирург и анатом, лейб-медик короля и королевы.

15

Барри Корнуолла (англ.).

16

Лишь в «Уложении о наказаниях» 1845 года с врачей, присутствующих на дуэли для оказания первой помощи, снималась уголовная ответственность.

17

В судебном деле Дантеса имеется заключение штаб-лекаря Стефановича, который спустя неделю освидетельствовал раненого и констатировал у него сквозное пулевое ранение средней трети правого предплечья. «Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Рана простая, чистая, без повреждений костей и больших кровеносных сосудов. Кроме боли в раненом месте, Геккерен жалуется на боль в правой верхней части живота, где вылетевшая пуля причинила контузию…»

18

2,54 см.

19

«Благодарю Вас, что Вы сказали мне правду как честный человек… Теперь займусь делами моими».

20

Вилье длительное время занимал должность главного военно-медицинского инспектора армии и директора медицинского департамента военного министерства. Кроме того, был президентом Медико-хирургической академии.

Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что он днем и ночью посещал больного, которому ничем существенным не мог помочь. Жуковский записал, что Арендт навещал Пушкина по 6 раз днем и несколько раз ночью.

22

Что не может быть существа разумного, творца и правителя (франц.).

23

Наука о насекомых.

24

Профессор В. Манасеин в лекциях по терапии (Спб, 1879) указывает, что в 1836 году в Париже было затребовано из аптек 1 280 000 пиявок.

25

По-видимому, представление В. И. Даля не совсем правильное: большинство более поздних исследователей считает, что соприкосновение пера и бумаги – необходимый момент для пушкинского искрометного творчества. Известный пушкинист С. Бонди писал по этому поводу: «А. С. Пушкин сочинял свои вещи большей частью прямо на бумаге, во время писания их, и почти весь процесс создания вещи получал точное отражение рукописи, что делает его рукописи в высшей степени богатыми, содержательными и выразительными».

26

С. А. Раевский – друг М. Ю. Лермонтова, участвовавший в распространении стихотворения.

27

Тульп (1593–1674). Родом из Амстердама, изучал медицину в Лейдене; возвратясь на родину, состоял адъюнктом по анатомии. Изображен на известной картине Рембрандта демонстрирующим мышцы верхней конечности (1632 г.). В 1654 г. избирался бургомистром Амстердама. Пользовался славой как врач, известен и как анатом.

Более известна другая медицинская эмблема: пьющая из чаши змея – носительница здоровья и мудрости.

29

В 1876 г. в связи с разорением Павла Егоровича – отца писателя семейство Чеховых переезжает в Москву. Антон Павлович остается жить не родине, в Таганроге, до получения аттестата.

У Антона Павловича было четыре родных брата и сестра:

Александр Павлович (1855–1913) – старший брат. Литератор.

Николай Павлович (1859–1889). Талантливый художник. Умер от туберкулеза.

Иван Павлович (1861–1922). Известный педагог.

Михаил Павлович (1865–1936) – младший брат. Литератор. Автор многих биографических работ об Антоне Павловиче.

Мария Павловна (1863–1957) – сестра. Педагог. Заведовала Ялтинским домом-музеем. Редактировала собрание писем Антона Павловича.

31

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899). Известный русский писатель.

32

Впервые опубликовано в т. 16 полного собрания сочинений (М., 1979).

33

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912). Беллетрист, драматург и фельетонист. Издатель реакционной газеты «Новое время». Взаимоотношения А. П. Чехова с А. С. Сувориным отличались сложностью. Антон Павлович долгое время наивно полагал, что А. С. Суворин не разделяет черносотенных взглядов редактируемой им газеты. Неоднократно отношения их обострялись по принципиальным вопросам, но хитрый и опытный дипломат Суворин каждый раз уходил от разрыва. Чехов решительно порвал с Сувориным после гнусных выступлений «Нового времени» по делу Дрейфуса. Беспощадную характеристику А. С. Суворину дал В. И. Ленин в статье «Карьера», увидев в судьбе редактора «Нового времени» типичный пример ренегатства либерального буржуа.

34

Переписка Л. Н. Толстого и Г. А. Захарьина опубликована проф. Е. Б. Меве в «Медицинской газете» 21 февраля 1979 г.

35

Осипов Евграф Алексеевич (1841–1904). Один из основоположников русской земской медицины, многолетний руководитель санитарной организации Московского губернского земства, занимался разработкой санитарной статистики.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 65.

37

Лейкин Николай Александрович (1841–1906). Писатель-юморист, рисующий в своих очерках и рассказах сцены из жизни купечества и городского мещанства. С 1882 г. редактор-издатель журнала «Осколки».

38

Шарль Дю Бос (1882–1939). Известный французский литературный критик, эссеист.

39

Куркин Петр Иванович (1858–1934). Земский врач. Ученик и сподвижник Е. А. Осипова. Многие годы заведовал медико-статистическим отделом санитарной организации Московского земства. Автор многих работ по санитарной статистике и общественной гигиене.

40

Гааз Федор Петрович (1780–1853). Врач и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь улучшению содержания заключенных в тюрьмах.

41

Вагнер Владимир Александрович (1849–1934). Выдающийся биолог-дарвинист. Один из основоположников научной сравнительной психологии. Послужил прототипом образа фон Корена в повести «Дуэль».

42

Бурже Поль (1852–1935). Французский писатель, академик.

43

«Дело Дрейфуса» – судебное дело по обвинению в шпионаже офицера французского генерального штаба А. Дрейфуса, инспирированное реакционными кругами и ставшее предметом ожесточенной политической борьбы в 90-х годах XIX века.

Э. Золя встал на защиту Дрейфуса. Он обратился к президенту республики с открытым письмом, начинавшимся словами: «Я обвиняю». Военная верхушка, против которой было направлено гневное обвинение Золя, возбудила против него судебный процесс, и он избежал тюремного заключения только благодаря эмиграции.

44

Сытин Иван Дмитриевич (1853–1934). Книгоиздатель и книготорговец. Издатель газеты «Русское слово».

45

Шехтель Франц Осипович (1859–1926). Замечательный русский архитектор. По его проекту построен Ярославский вокзал, многие особняки, общественные и деловые здания в Москве. Им построена библиотека им. А. П. Чехова в Таганроге.

46

Щеглов (Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856–1911). Беллетрист и драматург, близкий знакомый А. П. Чехова.